

# КЛАДОИСКАТЕЛИ

НИНА  
СОРОТОКИНА



ИСТОРИЧЕСКИЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Исторические приключения (Вече)

Нина Соротокина

**Клагоискатели**

«ВЕЧЕ»

2012

## **Соротокина Н. М.**

Кладоискатели / Н. М. Соротокина — «ВЕЧЕ»,  
2012 — (Исторические приключения (Вече))

1732 год. Молодой княжич Матвей Козловский, отправленный отцом на службу в русское посольство во Франции, неожиданно получает письмо из России, откуда узнает о том, что стал богатым наследником. Матвей отправляется в путь вместе с двумя французами. Однако на территории Польши приятная поездка неожиданно оборачивается кровавой драмой. На карету совершено нападение, и в живых остается лишь русский княжич. Вдобавок он становится обладателем приличного капитала в виде золотых монет и алмазов, обнаруженных им в винной бутылке. С этого дня веселая и беспечная жизнь Матвея превращается в смертельно опасную игру, где ставкой является его собственная жизнь!..

# Содержание

Часть I	6
Часть II	41
Конец ознакомительного фрагмента.	56

# **Нина Соротокина**

## **Клагоискатели**

© Соротокина Н. М., 2012

© ООО «Издательство «Вече», 2014

\* \* \*

## Часть I

### Князь Матвей Козловский

#### 1

– Я вас люблю! Я вас обожаю! С той самой минуты, как мне посчастливилось лицезреть ваши черты... О! Вы моя дева, богиня, Артемида чистая! Я воск, лепи все, что благо рассудит дивная рука твоя... О ней мечтаю, ее прошу. – Удобно стоя на одном колене, Матвей стремительно воздел руки, как бы в мольбе, и правая взметнулась весьма удачно, прямо к ланитам обожаемой, а левая, чтоб ее, зацепилась кружевным манжетом за пуговицу и застыла на полдороге.

Жест получился неубедительным, балетным. Кроме того, Матвей не удержался и весьма дурацки пошевелил пальцами левой руки, словно она попала в невидимую сеть. «Прощка, подлец чинил вчера кружева, да не дочинил. Вся речь насмарку!» От этой мысли Матвей совсем смешался, вскочил с колен и поспешно отошел к окну.

Юная особа, к которой были обращены пылкие речи – ее звали Лизонька Сурмилова, – не увидела этой заминки, потому что была взволнована до чрезвычайности. Ладонки ее взмокли, на переносице и за ушами выступили бисеринки пота, из-за болезни она от малейшего волнения потела, но вместо того, чтобы охладить себя веером-опахалом – это было бы изящно и к месту, – она стиснула руки под грудью и пролепетала через силу:

– Благодарю вас, благородный кавалер... э... Судьбу нашу... ах, я не знаю, как сказать... Судьбу мою может решить только папенька.

«Ну, папеньку-то я уболтаю», – пронеслось в голове у молодого князя.

– Одно лобзанье, Лизонька! – Он опять метнулся к девице.

Та вжалась в кресло, плечики ее встопорщились, как у птенца перед первым полетом, и она затрясла головой, мол, нет, нет, а когда губы Матвея коснулись ее худой, горящей румянцем щеки, зажмурилась и обмякла вся – не девица, а свеча оплывшая.

«Ну вот и все, вот и сделано!» – подумал Матвей, украдкой отирая губы после поцелуя, они казались липкими. Знать бы, чем русские девы щеки румянят.

Любовное объяснение происходило в парижском доме русского дипломата Александра Гавриловича Головкина, где собралось небольшое общество, преимущественно русских, по той или иной причине оторванных от родины. Вечер вполне удался, были даже танцы. Небольшой оркестрик – две скрипки, клавесин и контрабас – очень ловко изобразил менуэт, потом кадрили. Набралось шесть пар молодежи. Душой танца все желали видеть Лизоньку Сурмилову, дочь заезжего богатея, но она не претендовала на эту роль: стеснялась, краснела, одергивала розанчики на плечах, стараясь прикрыть слишком обнаженную по уставу моды грудь.

В кадрили Матвей постарался, чтобы его парой была мадемуазель Сурмилова. Во время перемены кавалеров он старательно искал ее глазами, как только удавалось завладеть ее рукой, выразительно сжимал ей пальчики. Лизонька каменела и не только не отвечала на знаки внимания, но, казалось, готова была расплакаться.

Матвея раздражала эта застенчивость. Болтаясь без малого три года по Европам, он привык к другому обращению с девами. И француженки, и польки, и немки – все понимали с полуслова, при этом были раскованы, резвы и за словом в карман не лезли. Видно, Лизонька – та крепость, которую надобно брать приступом. После танцев Матвей увлек девицу в гостиную и бросил к ногам ее заветные слова. Кажется, проняло...

За ужином тоже сидели рядом, хотя хозяйка дома решила соблюсти полный этикет, и гостей за столом рассадил по заранее написанным билетам. Но наш ушлый герой считался своим человеком в русском представительстве, ему нетрудно было внести в распределение билетов свой порядок.

Ужин шел ходко, разговаривали с интересом, ругали погоду, почту, дороговизну и проклятие Франции – экономиста-шотландца Джона Ло. Предприимчивый финансист, помогая королю Людовику XV выплатить огромный долг государства, ввел в обращение бумажные деньги. Начинание казалось разумным, запас звонкой монеты увеличился, а потом как-то все разом рухнуло и все разорились. Уж русским-то какое дело до бед чужой страны? Но спорили, горячо, видно, кто-то из присутствующих тоже оттащил деньги во французский банк.

– Ну и хватит, судари мои... Глупости все это, – подвел черту господин Сурмилов, одышливый, тучный мужчина лет пятидесяти, с лицом хитрым, но словно на замок запертым. – Французам надобно было своим умом жить! Статочное ли дело – довериться шотландцу?

– То-то мы дома своим умом живем, – бросил кто-то, и за столом сразу стало тихо. Никто даже головы не повернул в сторону произнесшего опасную реплику. Всяк знал, что Россия давно уже живет умом немецким, австрийским, курляндским... но говорить об этом было не принято. Сурмилов засопел недовольно.

– Ну уж мы-то бумажные деньги никогда не введем. На это у нас ума хватит. Подай-ка, милый, еще телятинки...

Слуга поторопился с блюдом, опасный разговор замяли. Беседа перекинулась на дела международные, где ж говорить об этом, как не в доме дипломата? На дворе стоял август 1732 года. Самой животрепещущей темой в Европе был польский вопрос. Король Август II был стар и болен. Кто по его смерти займет польский трон? В выборе короля хотели принимать участие все значительные страны Европы, но наибольшим влиянием здесь обладали Франция и Россия.

Этот вопрос и обсуждали за столом. Тон задавал хозяин дома, гости вежливо соглашались, и только Сурмилов пытался придать разговору видимость спора. Он принадлежал к тому типу людей, которые не могут соглашаться даже с вещами очевидными – только один он знает истину. Скажи ему: «На улице дождь идет». Иной согласится: да, идет. А Сурмилов возразит: «Это не дождь. Так, моросит... Разве дожди такие бывают?» Вот и сейчас, желая главенствовать, он вещал, неизвестно кому возражая:

– А я говорю и утверждаю это наверное, что ее величество не оставит Польшу в беде и защитит от притязаний французов.

И, конечно, нашелся оппонент:

– А зачем, простите, Польше наша защита?

– А затем, что всем известно о притеснении в Речи Посполитой православных. Про Литву и говорить нечего... Придут к власти французы католики и иезуиты, то православному люду будет вовсе не передохнуть. – Взгляд Сурмилова уперся в Матвея, и тот на всякий случай истово закивал головой, выражая полное согласие.

Но оппонент не унимался:

– Вы, голубчик мой, не туда клоните и все путаете. Поляки и сами католики. О какой защите вы толкуете?

– Как какой? Польша должна жить под нашим присмотром. Иезуиты решили православных под корень извести, и мы им этого не позволим. В Варшаве о русских интересах граф Левенвольде старается, только по силам ли ему сокрушить европейскую дипломатию? Скверная эта наука, дипломатия. Я лично больше гаубицам доверяю.

Говорить подобное в доме графа Головкина было крайне бестактно. Отношения между Россией и Францией оставались напряженными, граф не был аккредитован в Париже и значился посланником только на словах. Дело шло к тому, что русский дипломат должен был



поменять местожительство, а с ним и весь его штат. И вдруг заезжий человек, всего-то как две недели приехавший в Париж, грохочет о тайном во весь голос. И добро был бы знатен, уважаем в кругах, но ведь известно, что разбогател он на откупках по питейным делам, а в Париж явился не государственные дела решать, а покупать вино к столу ее величества Анны Ивановны. Но так было сильно ослепление чужим богатством, что за столом никто более не стал перечить Сурмилову, только звонче застучали ножи о тарелки да хозяйка засуетилась, предлагая гостям отвежать новые блюда.

– И еще скажу, – продолжил Сурмилов. – Знатно мы Швеции нос натянули. Земли, Петром I у нее отвоєванные, есть русские, законные, наши. И что дипломаты их удумали, а наши чуть было им не спустили? Шведы сказали, мол, ладно, мы простим России ее завоевания, если она уплатит наш долг Голландии. Каково – а? Вот тебе и Ништадтский мир!

Разговоры об уплате долга за Швецию действительно велись несколько лет назад, но, во-первых, к этому никто в русском кабинете серьезно не относился, а во-вторых, разговоры эти были секретными. Откуда узнал об этом господин Сурмилов, это на его совести, но зачем говорить об этом вслух? Дамы вдруг защебетали, зажеманничали, мол, ах, как сложны все эти разговоры, да зачем об этом судачить в дамском обществе. Супруга посланника, басистая Мария Петровна, вдруг сказала доверительно:

– Я бы тоже могла рассказать, как грузди солить, чтобы они хрусткие были, да не всем это интересно.

Все рассмеялись, каждый понимал, что графиня Головкина, умная женщина, вытаскила разговор из опасной трясины, и мысленно благодарили ее за находчивость.

Матвея не интересовала застольная болтовня. Мало ли он здесь слышал умных и глупых разговоров? Одно ему было интересно – наблюдать за папенькой своей избранницы. Эх перед ним все стелются! Что он ни брякни – слушают, как ни поверни разговор – поддакивают. И про Левенвольде съели! Другому бы прилюдно скандал закатили, а тут... тю-тю-тю, и дальше поехали. А чадо единоутробное – возлюбленная моя – не в папеньку, тиха. А уж хлеба-то вокруг себя накрошила! Переживает... Может, это моя недавняя речь за живое ее задела?

Разговор с папенькой Сурмиловым с предложением руки и сердца Матвей решил не откладывать в долгий ящик... Завтра или послезавтра, в крайнем случае в конце недели. Матвей был уверен в благоприятном исходе для себя этого разговора не только потому, что считался любимцем русского общества в Париже (да и у французов пользовался успехом), а потому, что невеста была с изыском.

## 2

Князь Матвей Козловский принадлежал к одной из лучших семей России, и не его вина, что в двадцать два года он торчал вдали от отечества и без гроша в кармане. Совсем без гроша – это, пожалуй, сильно сказано, жалованье при русском представительстве он получал, но оно было столь ничтожно, что вслух о нем говорить просто неприлично.

Виной Матвеевой бедности был введенный императором Петром I закон о майорате. Петр I решил, следуя примеру англичан, не дробить по наследникам отцовские земли и капитал. По закону о майорате все наследовал старший сын. Прочие же дети должны были искать себе денег и пропитание службой или торгами. Что касается дочерей, то закон этот возбранял выдавать им приличное приданое деревнями и капиталом. Коли любишь – бери жену бесприданную. Если ты богат, то и жена будет богата. А если беден? Вот так-то...

Можно ли придумать более бесчеловечный закон? Умные люди говорят, и сама Британия майорат плохо переваривала. Вдруг оказалось, что кругом полно рыцарских детей, у которых одна собственность – умение воевать. И пошли они в поход за веру – в крестовые походы за Гроб Господень. Будь у них земли и деньги, может быть, и поостереглись бы.



Русь для майората и вовсе не приспособлена. Сколько из-за этого закона пролито слез, произошло разорений, обмана, склок и даже смертоубийств. И пожалеть надо не только безземельных чад, но и родителей их, которые любили всех своих детей и не хотели в пользу одного, старшего, оставлять прочих без средств.

В семье Матвей был младшим и любимцем родителей. Старший – Иван – натура замкнутая, на мир смотрел с осторожкой, словно бы все примеривался, стоит ли расточать свои душевные свойства аль погодить, а Матвей с малолетства был ласкун, взор имел светлый, открытый, голос звонкий, в доме расхохочется, на скотном дворе слышно. Обаяние – вещь тонкая, его воспитанием не привьешь. Бывало, нашкодничает в детстве, папенькин пистолет утащит для стрельбы в цель или улакомит полную банку варенья в буфетной, его бы наказать, а родители расчувствуются – мальчик не со зла сотворил, а от излишней прыти и здорового любопытства. Дворня звала Матвея «милый барчук».

Батюшка Николай Никифорович был человеком положительным и жил в ногу со временем, а потому сообразно нововведениям в государстве дал Матвею хорошее образование, грамоту мальчик одолел в шестилетнем возрасте, а когда в тринадцать лет поступил в Нарвское училище, то недурно говорил по-немецки и по-французски.

В четырнадцать лет Матвей потерял мать. В этом же году он был зачислен в полк, что не помешало продолжить учебу в Нарве. К девятнадцати годам Матвей Козловский получил чин подпоручика.

Вот тут и подвернулся заграничный вояж, совершенно повернувший судьбу его. Генерал-аншеф Оболянинов, фигура в петербургских кругах заметная, отправился в длительную заграничную командировку, взяв с собой в качестве адъютанта Матвея Козловского. С генералом Оболяниновым Матвей побывал в Риге, Стокгольме, Варшаве и наконец осел в Париже.

Один из наших соотечественников, кажется, в конце XVIII века, составил описание этого города, что-то вроде путеводителя, которое начинается словами: «Париж – город овражистый и голодный». Матвей в полной мере почувствовал правоту этих слов. Русские ехали во Францию с малой копейкой, дома-то тоже деньги были не больно в ходу: для барского пропитания тянулись в столицы длинные обозы, груженные разнообразной снедью. Хочешь новую карету завести или одеться поприличнее, продавай деревеньку. А в Париже никто тебе гусей да баранины из деревни не привезет.

Первое время Матвей получал вспоможествование от родителя, но потом пришла беда – батюшка скончался от гнилой лихорадки. Извещение о смерти отца нашло Матвея только два месяца спустя, посольские дела увлекли его в Данию, а когда вернулся в Париж, уже и сороковины прошли, ехать домой не имело смысла. Да и захоти Матвей поклониться останкам родителя, денег на дорогу в Россию у него все равно не было, а пешком домой не пойдешь.

Вот ведь судьба злосчастная! Двадцать два года и круглый сирота, и мать без него похоронили, и отцу он глаз не закрыл. Поплакал... но время все лечит. Так уж задумано природою, что родители оставляют этот мир раньше детей. Все вернулось в привычную колею, и Матвей продолжил жизнь знатного шалопа, принятого и обласканного в хороших домах. Словом, за год пребывания в Париже Матвей стал совершеннейшим французом: общество прелестных дам, замок Поле-Рояль, Лувр, сад Тюльери, кофейные дома, жемчужина архитектуры Версалия – все стало привычным. А главное – голос, пульс, шум, движение большого города. Это чудо – Париж!

Иногда, правда, домой тянуло до томления души, до изжоги в желудке. Лежишь, бывало, ночью, сон не идет, и все перед глазами дом родительский в Видном. Перед большим крыльцом палисадник, в нем розы махровые – маменька покойная их обожала, барская спесь, касатики, жонглии, занавеска на окне колеблется под ветром.

А из комнаты на втором этаже вид совсем другой, очень красивый: небо розовое, цветущие сирени, пруд, в котором отражается изрядный кусок мироздания, и туман над даль-

ней извилистой речкой, заросшей по берегам кудрявыми ивами и ольхой. И, конечно, комаров до черта.

Весной случилось непредвиденное: генерал-аншеф Оболянинов отбыл в Петербург. Матвея он с собой не взял, поскольку твердо был уверен в своем скором возвращении. Однако потом выяснилось, что возвращение его отодвигается на неопределенный срок. О Матвее генерал просто забыл. Ну что ж, можно и без генерала просуществовать. Служба у Матвея много времени не занимала. Вот только он ее не любил, более того, одно слово «дипломатия» вызывало раздражение. Он мечтал о кирасирском полке, о парадах, экзерцициях и полях битвы. Там место для настоящего мужчины! И еще настоящий мужчина не должен быть бедным, в этом Матвей был твердо уверен.

Обратить внимание на Лизоньку Сурмилову надоумил Матвея посольский секретарь Зуев. Тертый калач был этот Зуев, черный, как пережаренный сухарь, едкий и умный. Дела Матвея он знал преотлично, потому и шепнул в ухо: женись, дурень! А как выгорит дельце, и меня не забудь. Я, мол, здесь, в Париже, замшел совсем от грубого недоедания. И тут же сообщил все подробности о девице: Лизонька единственная дочь, отец ска-а-азочно богат. В качестве невесты мадемуазель Сурмилова – товар недоброкачественный, грудная болезнь у нее, из-за чего отец собирается везти дочь на воды то ли в Италию, то ли на юг Франции, не суть важно. Насколько поможет Лизоньке иностранная вода и воздух – неизвестно, но судя по ее виду – мало. Вся она какая-то понурая, вялая, а что румянец во всю щеку, так поди разбери, свой он или то румяна. Но Зуев твердо знал, при грудной болезни румянец – первое дело. Полыхает дева, как заря, а внутри – гниль.

Может быть, у богатея-откупщика были свои виды на замужество дочери, но Матвей об этом не думал. За неделю до описываемого ужина его представили Сурмилову, тот, оказывается, знал покойного батюшку, а потому и сыну оказал благоволение. И даже изволил пошутить «Дело молодое... а у меня дочь на выданье».

Из дома посланника Матвей вышел в приподнятом настроении. Не иначе как сама судьба послала ему богатую невесту. Ведь не мальчик уже, пора становиться на полную ступню, нечего жить на цыпочках.

Ночной воздух был горяч, полон терпких запахов, и все как бы с кислинкой, словно французское вино. Небо было низким, звезды мохнатыми. Протарахтел экипаж по брусчатке, кучер заорал, как одержимый, все французские кучера дерут глотку. В ответ раздался смех – мужской, снисходительный, и женский, переливчатый и нежный. От стены отклеилась пара и поспешила, обнявшись, в сторону чернеющих в конце улочки деревьев. Париж – зеленый город, в нем полно садов и парков, великолепное кольцо бульваров, в их благодатной, баюкающей темноте можно всласть целоваться хоть до самого рассвета. Пара поравнялась с фонарем, и Матвей увидел, что у француженки тонкая талия, кисейная косынка вокруг шейки и белые локоны до плеч. И вся она как-то изогнулась, и эдак изящно, что Матвей внутренне ахнул – матушки мои!

Он вдруг понял, что совершенно, ну то есть категорически, не желает жениться на Лизоньке Сурмиловой. Ведь ни кожи, ни рожи, одно утешение, что нерябая. В России каждая десятая девка украшена следами оспы. Во Франции, правда, тоже рябых предостаточно, но ведь девы их такие изгибистые, так умеют ножку из-под подола выставить: носочек тушенький, каблучок рюмочкой. Дома таких каблучков, поди, и не знают еще.

Но ведь не век Лизонька будет эдак скрипеть! При чахотке долго не живут. Грех, конечно, так думать, но Зуев определенно сказал: лови удачу за хвост! Есть мудрость: жениться беда, не жениться – другая. И еще Зуев говорил: во вдовцах хорошо, были бы деньги.

Все это Матвей и сам понимал и к трудному подвигу вполне подготовился. Да, видно, не соразмерил желания с возможностями. Не хочется ему с Лизонькой Сурмиловой бежать под сень дерев и обнимать ее не хочется, о прочем же... лучше не думать.

И как всегда в подобные минуты, если он сталкивался с чем-то непреодолимым, навалилась на него тоска, защемило сердце и заскучал он по дому, и по умершим родителям, и по тому ощущению покоя и душевного довольства, когда он всеми любим, когда он свет в окне. Кто он здесь, в Париже? Листок, оторванный от родимой березы или, скажем, дуба... гонит его по дорогам. А можно представить, что он пушинка с одуванчика, порхает, взвиваемый ветром. Или, скажем, перышко Финиста Ясна Сокола, который летит в грозových облаках. Одно счастье, что молния не спалила его в лихую грозу.

Нагромождение поэтических образов несколько отвлекло Матвея от тоски по отечеству и жалости к себе. Что он разнылся? Всяк скажет, князь Матвей Козловский – парень не промах и кавалер хоть куда. Мы еще поспорим с судьбой! В душевной запальчивости он схватился за эфес шпаги, вынул ее наполовину из ножен и с лязгом вставил обратно. «Приду домой, напьюсь в стельку!» – успокоил он себя.

Но напиться ему не пришлось. Верней, не понадобилось, потому что появился новый источник для переживаний и раздумий – письмо из Москвы.

### 3

Прошка, по дурости и лени, не дожидаясь хозяина, завалился спать, а письмо положил под шандал<sup>1</sup>. Матвей вначале и внимания не обратил – лежит какая-то бумага, может, про запас слугой припасена. Потом рассмотрел – да это куверт! Вот и печать почтовая! Сразу понял – из России. Развернул дрожащими руками.

Письмо было от стряпчего Лялина, человека очень преданного семье, то есть покойному батюшке.

«Светлейший князь Матвей Николаевич! Пишет вам всенижайший слуга ваш Епафродит Степанов Лялин, радея о вашем счастье. Смею советовать, поспешайте домой безотлагательно, понеже настала пора вам входить в наследство. С радостию сообщаю также о великой милости: стараниями ее величества государыни о благе народном подлый закон о майорате упразднен, и многие дела о разделе имущества уже с места сдвинулись. Присутствие ваше при разделе имущества великочтимого и ныне покойного родителя вашего совершенно необходимо, потому что братец ваш достойный Иван Николаевич по присущей ему скаредности будет строить серьезные козни, а дело ваше пребывает в большой запущенности. Чтоб распутать сей клубок, много сил надо приложить».

Матвей перевел дух, снял нагар со свечи. Домой ехать – это хорошо, но он бы и без увещаний Епафродита Степановича уехал, было бы на что. Конечно, письмо стряпчего – важный документ. С этим письмом он завтра же может пойти к Александру Гавриловичу. Так, мол, и так. Под эдакое письмо можно и в долг деньги взять под самые малые проценты. А коли не даст? В голове Матвея мелькнул образ господина Сурмилова, но, к чести своей, он его немедленно отогнал. Папенька покойный перед дорогой в заграницы напутствовал: занимать деньги можно только в крайнем случае, потому что долг хуже плена. Из плена бежать можно, а от денежного долга – никуда. Но ведь у него сейчас этот самый крайний случай и есть! Он перекрестился на икону и продолжил чтение:

«Присутствие ваше дома еще тем необходимо, что сыскался жених высокородной сестрице вашей Клеопатре Николаевне. Сговорена она за Юрьева, достойного в тех местах помещика, но князь Иван Николаевич и рубля из рук выпустить не хочет, а без приданого какая свадьба? Есть опасение, что сговор разладится. Княжна Клеопатра Николаевна проливает горячие слезы, а братец ваш князь Иван ни тпру, ни ну...»

---

<sup>1</sup> Шандал – подсвечник.

Матвей соскочил со стула и в нетерпении забегал по комнате. Ну и дела! Помнится, он за границу уезжал, а сестра уже была в перестарках. Сколько ж Клепке сейчас? Неужели за двадцать три перевалило? Как же он забыл про сестру-то? Не-ет! С этой свадьбой надо торопиться. Достойного помещика Юрьева нам упускать никак нельзя. Другое дело – Лизонька Сурмилова, здесь коней можно не гнать...

Он вдруг встал столбом посередине комнаты. Написанное стряпчим он увидел совсем под другим углом зрения. Что он в Клеопатровы дела лбом уперся? Главное, это письмо его собственную судьбу решает. Если отменен закон о майорате, то, значит, он будет богат. А если богат, зачем ему Лизонька Сурмилова? Свадьба, отменяется! Он тихо засмеялся, потом громче. Колесом бы пройти по комнате, так места мало. Да и расшибиться можно в темноте.

Патлатая со сна голова Прошки просунулась в дверь.

– Что случилось, ваше сиятельства?

– Ничего, спи.

– А я понять никак не могу, то ли рыдаете вы, то ли регочете?

– Это когда же рыдал, бессовестные твои глаза?

– А когда с крыши сверзились? Мне весь кафтан слезами измочили.

– Так я тогда малюткой был, шести лет. Да и плакал я не от боли, а от обиды. Меня Иван с амбара спихнул.

– А я скажу, что и сейчас вы не намного старше. На вас ведь каждый француз зарится. Смешно сказать – все в долгах. В лавках задолжали, вчера портной навевывался, я ему одно твердил: по-вашему не разумею. Даже оружейник, который собачку у пистолета чинил, и тот на нас долг написал. И думаете, не знаю почему? Да потому что этот диавол мусью Сюрвиль вас до нитки обобрал!

В сердцах Матвей показал Прошке кулак.

– Во-первых, это не твоего ума дело, а во-вторых, я все деньги отыграл. Отыграл!

– Коли отыграли, то где они?

– Прохор, иди спать. Ты кого хочешь переговоришь. Я хотел сообщить тебе приятную новость, теперь не буду.

– Понятно, рожей не вышел? Где ж нам...

Снятый с ноги и ловко брошенный башмак угодил в уже закрытую дверь. Тихо... А ведь Прошка прав! Надо потребовать у Сюрвиля деньги. Категорично! И без экивоков... В конце концов, это долг чести. Но почему-то, если долг чести касается Матвея, он платит его немедленно. Кольцо с брильянтом отнес ростовщику и заплатил. А у милейшего Сюрвиля долг чести заменяет обаятельная улыбка: «Конечно, мой драгоценный друг, я непременно отдам все до последнего су... но повремените... два дня, нет, неделю...» Эта проклятая неделя тянется уже полтора месяца.

С месье Сюрвилем Матвей познакомился сразу по приезде в Париж, но за год знакомства так и не разгадал характера этого удивительного человека. Виктор Сюрвиль, умный, образованный, остроумный, был любимцем дам и предметом зависти кавалеров. Леший знает, где он умел достать самый модный камзол, парик и башмаки, если у него никогда не было денег. Месье Сюрвиль водил самые высокие знакомства, говорили, что он вхож к самим министрам, но никто во всем Париже не знал, кем был его отец, где находятся его поместья (да и есть ли они вообще?). Единственное упоминание о родословной состояло в оброненной походя фразе, что его предок участвовал в крестовых походах. Мало ли кем он там участвовал? Может, слугой был у богатого султана. Но ведь не переспросишь. Сюрвиль вел себя так, что любое его слово следовало принимать за правду.

На поиски этого человека и отправился Матвей на следующий день. Сюрвиль – человек светский, раньше полудня не вставал. Найти этого светского человека тоже было трудно, потому что своего адреса он никому не давал, и Матвей даже предположить не мог, где живет

кавалер: во дворце, в гостинице или в снятых комнатах. Но были общие знакомые, которые не делали тайны из места своего обитания. Сюрвиля обнаружили в гостиной некоего господина Гебеля, негоцианта, вольнодумца... словом, хитрой бестии.

– О, князь Козловский! Какой счастливый случай привел вас сюда? Садитесь, мой друг. У нас спор, и вы его рассудите.

– Представьте себе игру. Фортуна поставила перед вами урну, а в ней бумажки с написанными на них жребиями, – присоединился к хозяину дома Сюрвиль. – Какой выбрали бы вы как лекарство от скуки? Там на выбор: ум, честь, богатство, любовь, слава...

– Сюрвиль выбрал авантюру со шпагой в руке, говорит, что ничто так не разогревает кровь...

– Я бы выбрал здоровье, – сказал Матвей с серьезной миной, – здоровому скучать веселее, чем больному.

Посмеялись. Потом Матвей перешел к главному:

– Виктор, у меня к вам приватный разговор.

– От господина Гебеля у меня нет тайн, – улыбнулся Сюрвиль. – Поэтому если дело не касается чести какой-либо дамы, то говорите тут. Я сделаю для вас все, что в моих силах. Вы же знаете, как я вас люблю!

– В этом у меня нет сомнений, – пробормотал Матвей и умолк, язык, что называется, прилип к гортани. Ведь стыдно просить человека о том, что он сам должен был давно сделать без всяких напоминаний.

А с Сюрвиля как с гуся вода, смотрит на Матвея с прищуром, улыбается, барабанит пальцами в перстнях по подлокотнику кресла. Его мысли заняты собственной персоной, он выбрал авантюру со шпагой, а до Матвея ему и дела нет. Вспомнилось вдруг, как сидели они вместе в трактире. Сюрвиль был там с приятелем и тоже говорил с улыбкой: не стесняйтесь, у меня от него секретов нет. Матвей и выпалил: не согласитесь ли быть моим секундантом? Сюрвиль согласился немедленно, вопрос чести, даже чужой, был для него превыше всего. Они обсудили условия дуэли, а потом Сюрвиль взялся проводить Матвея и уже приватно, один на один, потребовал плату за секундантство: «...вот эту булавку, мой друг. Вы понимаете, дуэль – дело небезопасное. Булавка с брильянтом – это залог. Если я попаду под арест, то ваша булавка поможет мне обрести свободу».

Дуэль прошла гладко, все остались живы, никто не наказан, честь спасена. Своей булавки Матвей больше не увидел.

– Обстоятельства мои таковы, – начал Матвей решительно, – что я должен отбыть на родину. А для этого мне необходимы деньги. Поймите, Виктор, я бы никогда не осмелился напоминать вам, но положение мое безвыходно.

Ни один мускул на лице Сюрвиля не дрогнул.

– Друг мой, какая насмешка судьбы! Мне ведь тоже выпало дальнейшее путешествие. Я еду в Варшаву.

Но даю слово, как только я вернусь, долг будет возвращен сполна.

– Но я не могу ждать! – запальчиво воскликнул Матвей.

– Ну будет вам. Париж полон ростовщиков. Займите пока...

Матвею хотелось крикнуть: вот вы и займите! Но он только запунцовел, как рак, отвернулся к окну и стал выбивать пяткой дробь. Мысли в голове громоздились, как гроззовые тучи: «Сейчас я вызову этого суетного, тщеславного, мелочного хлыща на дуэль... Для этого надо только сорвать парик с его надменной башки. А месье Гебеля, кота гладкого, в секунданты. Сюрвиль выберет шпаги... и отлично!»

Сюрвиль все еще улыбался снисходительно, но Гебель, недаром он был негоциант и атеист, почувствовал настроение русского гостя и, зная его горячий нрав, спросил тоном деловым и будничным:

– А велик ли долг?

Матвей назвал сумму.

– Насколько я понимаю, деньги, господин Козловский, нужны вам на дорожные расходы.

– Именно.

– И насколько я могу предположить, вы поедете тоже через Варшаву.

– Вероятно.

Гебель повернулся к Сюрвилю.

– А почему часть пути князь Козловский не может проделать в вашей карете? Это покроет большую часть долга, а недостающую сумму вы сможете вручить князю Козловскому в Варшаве. Я думаю, там вам легче будет раздобыть деньги. – Гебель сделал ударение на слове «там».

– Карета четырехместная, – раздраженно сказал Сюрвиль, всю его томность как рукой сняло, – но со мной едет Огюст Шамбер. И мы не можем обойтись без слуг.

– Я знаю про Шамбера. А от ваших слуг мало проку.

– Без моего Прощки я никуда не поеду, – быстро сказал. Матвей, понимая, что разговор принимает серьезный оборот. – Не могу я бросить Прощку в Париже.

– Его к кучеру на козлы, – уверенно продолжал Гебель, доброжелательно глядя на Сюрвиля, и не поймешь, то ли приказывает, то ли уговаривает. – А лишний человек в карете не помешает. Кроме того, приятно оказать услугу русскому представительству.

– Ну, если вы настаиваете, – промямлил Сюрвиль, он был рассержен, а скорее обижен. Но, пожалуй, и это не точно. Просто Матвей никогда не видел месть Виктора столь серьезным.

– Ну вот и славно, – подвел черту Гебель.

– Когда вы едете? – Матвей все еще колебался, слишком уж все это было неожиданно.

– Думаю, дня через три. Вас известят. И поторопитесь с бумагами. Вам предстоит пересечь несколько границ. Впрочем, не мне вас учить.

Больше Матвей спрашивать ничего не стал. В конце концов, это удача! За три дня он успеет уладить дела в родном посольстве. Здесь он не видел затруднений. Письмо стряпчего должно послужить ему пропуском домой. У всех дети есть, всем опостылел закон о Майорате.

Сборы были недолгими. Малые деньги на уплату долгов сами сыскались. Прощка прямо ошалел от счастья, Матвей и не подозревал в нем такой любви к отечеству. Все складывалось отлично! Тем неожиданнее оказалось для Матвея мелькнувшее вдруг искоркой чувство стыда и какого-то непереносимого неудобства перед Лизонькой Сурмиловой. Черт его дернул объясняться девице в любви! Но ведь он не знал, как сложится его судьба. Приди письмо из дома на день раньше, и не было бы этого трубного крика: «Вы моя обожаемая!» А Лизонька небось губы-то и распустила...

В безотчетном порыве он схватил бумагу в четверть листа и начертал: «Светлейшая Елизавета Карповна! Обстоятельства неожиданные заставляют меня оставить Париж». Он посмотрел в окно на мокрые от дождя крыши, покусал перо, почесал в задумчивости нос и добавил: «Уповаю на встречу, моя ненаглядная. Отдадимся в руки судьбы, и Бог нас не оставит. Твой Финист Ясный Сокол». Потом запечатал письмо сургучом и послал Прощку к посольскому секретарю Зуеву. Последнему он написал отдельное письмецо, мол, передал сей куверт Лизавете Карловне тайно... в собственные руки и все такое прочее. Но с передачей письма лучше не торопиться. Передай, мой друг, эдак дня через четыре... а лучше через неделю.

#### 4

И вот уже осталась позади Сена с ее садами, домиками и гранитными мостами, скрылись в утреннем тумане дворцы, купола и шпили, и гора Мартр с ветряными мельницами, и умиротворительные рожицы и хижинки Елисейских Полей. Кольцо бульваров сомкнулось и, как волшебным

очерченный круг, отгородило от Матвея древнюю Лютецию – блистательный Париж, счастливая жизнь в котором стала прошлым.

Грустно... Хоть и домой едешь, а грустно. Глядя в окно на розовеющие облака, Матвей вспоминал миниатюрную мадам Жюзак, особу пылкую и влюбчивую, модисточку Нинель из шелковой лавки, плутовку и амазонку мадемуазель Крис. Теперь без него, князя Матвея, потечет ее амазонская жизнь.

Экипаж поспешал на восток, раскачивался и скрипел, вертлявые колеса, казалось, отыскивали каждый камень на дороге, чтобы тряхнуть пассажиров посильнее. Карета, в которой Матвею и его спутникам надлежало достичь Варшавы, являла собой жалкое зрелище. Очевидно, она знавала лучшие дни: сиденья, когда-то отделанные бархатом, потерлись, на спицах колес совсем не осталось алой краски; кучерское сиденье было просторным, для удобства оборудовано бортиком из точеного дерева, но кожаные заплатки на корпусе, склеенные стекла на оконцах, вздыбленная крыша делали карету уродливой и неказистой. У Матвея даже мелькнула мысль, что некто, пославший Сюрвиля в Варшаву, нарочно выбрал такой экипаж, чтобы не привлекать к путешественникам внимания. Но Матвею чужие тайны были не нужны, ему собственные в родном посольстве опостытели.

Вперед, в Россию! Карета неслась во весь опор, лошадей меняли в почтовых конторах. Как это приятно и весело – торопиться из одного места в другое, когда за каждым изгибом бескрайней дороги душа обновляется новым впечатлением. К несчастью, Матвею пришлось ехать, сидя спиной к передку кареты. Право, это глупо, поспешать к отечеству задом! Рядом с Матвеем примостился камердинер Сюрвиля, улыбчивый и чрезвычайно прыткий малый Пьер. Каждое распоряжение хозяина он понимал с полуслова. По примеру господ он держал за поясом пистолет и короткий нож в чехле. Напротив Матвея сидели Сюрвиль и господин Шамбер.

Пейзаж за окном был вполне живописен. Сентябрь вступил на землю, по русским меркам, это уже осень, а здесь признаки увядания только наметились, придав природе особое очарование. Воздух прозрачен, небо без облаков. Купы деревьев, совсем еще зеленые, стоят поодаль от дороги с тихой торжественностью... холмы... пастушка, пасущая белых коз... поселянин, стадо... приличные хижины с садами, полными спелых яблок и груш, а на горизонте, на взгорочке, старинный замок с узкой башней и зубчатыми стенами. Отличный материал для всяческого рода грез и мечтаний. Виктор тоже смотрит в окно, Пьер спит, откинувшись головой на подушки, и только неподвижная, словно окаменевшая, фигура Шамбера и вредная улыбочка его мешают Матвею с полной свободой отлететь в мир фантазии.

Шамбер Матвею сразу не понравился. Об этом господине следует поговорить особо. Он строен, одет с изысканием, предпочитает черный цвет, движения, его замедленны, словно все суставы заржавели, а может быть, просто ему лень лишний раз переставить ноги или повернуть голову. У Шамбера странное лицо. На первый взгляд, оно казалось красивым из-за чистой кожи и синих глаз, однако потом оно начинало не нравиться, и каждый невольно пытался искать этому объяснение. Какой же он красавец? Нос приплюснут и рот безгубый! Но с другой стороны-то, на свете полно приплюснутых носов и щелевидных ртов, а разве всегда мы к ним испытываем неприязнь? Нет, тут другое... Матвей решил, что все дело в улыбочке Шамбера, не столько насмешливой, сколько презрительной, мол, вы тут живите, как хотите, а я сам по себе, потому что всех умнее и никого не боюсь, И еще, конечно, теснота кареты усиливает эту неприязнь. В толпе увидишь такую улыбку, пройдешь и забудешь, а тут чуть от окна отвернешься, а он вот, перед тобой. Матвей только и делал, что искал у Шамбера недостатки. И находил...

Во-первых, чрезвычайно действовала на нервы его черная дорожная шляпа с узкими полями, высокой тульей и предлинным жестким козырьком, который на ухабах угрожал выколоть Матвею глаза. Шляпу Шамбер не снимал никогда. Ну ладно, шут с ним, может, он лысину закрывает, а на парик денег нет. Но на кой черт в таком малом пространстве, как карета,



все время сосать чрезвычайно пахучие конфетки? Запах мяты Матвей с детства не переносил. Конфеты были разноцветные, засахаренные. Шамбер доставал их из маленькой коробочки вроде табакерки или мушечницы. Настоящий мужчина нюхает табак или в крайнем случае закладывает его за щеку, но чмокать наподобие девицы-гризетки – это, простите, просто неприлично. Потом Шамбер обмолвился, что всегда берет конфетки в дорогу, чтобы предотвратить тошноту, которую вызывает у него качка. Признание это не вызвало у Матвея ни малейшего сочувствия, только еще больше распалило неприязнь. И еще... Шамбер всегда спорил. Откроет свой пропахший мятой рот: «По-озвольте с вами не согласиться...» Позвольте не согласиться, что за поворотом будет гостиница, что лошади устали, что дорога утомительна и что на дворе сентябрь.

Правда, на второй день путешествия произошел разговор, после которого Матвей понял, что Шамбер просто его дурачит, дразнит от скуки. Все началось с сушей безделицы. Сюрвиль за ужином стал рассказывать о каком-то блюде, которого ему будет не доставать в Варшаве, какая-то рыба или устрицы, Матвей не прислушивался, а Шамбер вполне проникся переживаниями Виктора и поддакнул:

– Да, поляки готовить не умеют. Они славяне, а потому к пище относятся без надлежащего почтения.

Это Матвей уже услышал и немедленно бросился защищать славян и русских, в частности, мол, зачем говорить, если вы в этом ничего не понимаете? Из парижских окон не увидишь, что подают к обеденному столу в Москве. Шамбер вежливо ответил, что имел несчастье быть в России, а потому в данном вопросе вполне разбирается.

– Что значит «имели несчастье»? Извольте объяснить! – вспыхнул Матвей.

– Изволю. Я там мерз, болел, меня там обманули и обобрали до нитки.

– Немудрено замерзнуть в наших снегах, надобно одеваться потеплее. Тогда и болеть не будете. А что касается воровства, то Париж даст вам в этом сто очков вперед.

– О, согласен! Наши воры – профессионалы. Но я не об этом говорю. В России меня обобрали чиновники на таможне, потом шулеры в роскошных гостиных. Русские – очень корыстолюбивая нация...

– Ну, в таком деле французы – тоже не промах, – миролюбиво заметил Виктор, но Матвей не обратил внимания на его слова, он уже не мог остановиться, мысли его полетели бешеным галопом.

– Что это вы такое говорите, сударь? – вскричал он, буравя Шамбера взглядом. – Русские корыстолюбивы? Да это самый бескорыстный народ в мире! Его дурачат все кому не лень, а он платит добром за зло! Вас обманули в России... вполне может быть. Но не французам порицать нас за штучный обман, поскольку у вас обман почитается правом. А что касается корыстолюбия, то оно заразило во Франции все сословия. Божество ваше – деньги.

Матвея явно занесло. Никогда бы он не позволил себе в Париже говорить подобное, там он был гостем и соблюдал устав хозяев. А карета, гостиница – это как бы уже нейтральная территория, здесь всяк за себя. Кроме того, Матвей понимал, что, отдай ему Сюрвиль вовремя долг, он бы менее горячился. Шамбера страстность князя Матвея не оскорбляла, а скорее забавляла, и он походя подливал масла в огонь, ругая нравы русских, их неумение одеваться и жалкую попытку во всем копировать Запад.

Сюрвилю надоело слушать эту перебранку.

– Господа, право, смешно. Это спор голодного с несатытым. Вы оба правы. Но позвольте вам напомнить, что пора идти спать. Завтра нам вставать ни свет ни заря.

С Виктором трудно было не согласиться. Вообще, в дороге Матвей изменил о нем мнение в лучшую сторону. Любезен, умен, не капризен, если нет отдельной комнаты в какой-нибудь занюханной гостинице, ночует вместе с Пьером в карете, только плащом укроется, и никаких жалоб, а главное, без лишних слов оплачивает все Матвеевы счета. И в разговорах Виктор

не лез на рожон, как Шамбер. Тот брякнет что ни попадя и тут же в коробочку за конфеткой. Мизантроп он и в добро не верит совершенно! И все старается ввернуть какую-нибудь колкость! Например, Матвей заметил в гостинице, что дверь в его комнату не запирается. Шамбер тут же заметил с ехидцей: «Вы боитесь, что вас украдут?» Или Виктор со смехом рассказал, что Матвей из всех благ мира выбрал здоровье. Шамбер отреагировал немедленно: «Такой молодой и уже гипохондрик!» Матвей никогда не был мнителен, никогда не волновался из-за того, как там у него работают сердце или печень. И получить такой ярлык! Хотел было опять сцепиться, но передумал: «Шамбер нарочно злит меня, я для него просто мальчишка. Сам-то он в летах значительных. Ему, пожалуй, уж за тридцать перевалило».

Как-то в карете зашел разговор о Петре Великом. Известно, государь посещал Париж, поэтому у французов сложилось о нем свое личное мнение. Конечно, личное мнение Шамбера было отрицательным.

– Ваш Петр – злой гений своего народа. Вы считаете прибыли... Поверьте, придет время, и вы начнете считать убытки от этого правления.

Это возмутительно и непереносимо, когда все ругают Петра I. Разговор опять грозил ссорой, но Матвей вдруг сам прервал себя на полуслове:

– Господа, да тут мышь! В карете! Фу, гадость какая!

– Вы не любите мышей? – спросил насмешливо Шамбер по-русски.

– А вы любите?

Щеголяя русским языком, Шамбер ошибся, конечно, он хотел спросить «боитесь?». Но он с честью вышел из глупого положения, перейдя на родной язык:

– Я к ним равнодушен. Не переживайте... Это полевка забралась в карету...

– Она еще третьего дня пицала, – вмешался Пьер. – Я думаю, тут их целое гнездо, из Парижа привезли.

Этим же вечером после ужина Матвей позвал Прошку и пошел с ним на задний двор, где стояла карета. Лошадей уже выпрягли, Пьер отправился куда-то по своим делам.

– Прохор, сними фонарь. Да опусти его пониже. Вот сюда свети.

Удивительно, что в тусклом свете фонаря Матвей увидел-таки мышь, которая юркнула под заднее сиденье, очевидно, там и было ее гнездо. Он встал на колени, пытаясь оторвать или сдвинуть переднюю стенку, но у него ничего не получилось. Чертыхаясь, он ощупал сиденье сверху и обнаружил, что оно поднимается, надо только нажать на маленький, утопленный в древесину рычажок. Он сбросил подушки, надавил на металлическую кнопку... Под сиденьем стоял пузатый винный бочонок с намертво забитой крышкой, а вокруг него целая батарея винных бутылок с широкими, залитыми сургучом горлышками. Каждая бутылка покоилась в своем мягком гнезде, упаковывали старательно, чтобы не побились в дороге. Казалось, благородная жидкость в свете фонаря вспыхивает и искрится рубиновым цветом.

– Что вы тут делаете? – раздался сзади резкий голос Виктора, он спрашивал так, словно подозревал Матвея в злом умысле.

– Мышей ловим, – испуганно прошептал Прошка.

– Искали мышей, обнаружили клад, – весело рассмеялся Матвей, указывая на бутылки. – Теперь нам не придется скучать в дороге. Ну хоть пару бутылок! – воскликнул он умоляюще, видя, что Виктор отрицательно трясет головой.

– Забудьте об этом вине. Оно принадлежит господину Гебелю. Он послал его в качестве подарка. Это драгоценное бургундское урожая тысяча шестьсот какого-то года, я забыл точно какого. Словом, я должен привезти его в Варшаву в целости. А что касается мышей, то Пьер сегодня же их изведет. Я прикажу.

В последних словах Виктора Матвею опять почудилась насмешка. «Уж не подозревают ли они меня вместе с Шамбером, что я, подобно красной девице, боюсь мышей? Не люблю я, когда эта нечисть по моим сапогам прыгает, понятно?» Матвей был вне себя

от возмущения. Через день ему представилась возможность отомстить Виктору за насмешливый тон. Обычно Пьер ночевал в карете, сторожил притороченные к задку дорожные сундуки, которые не отвязывали на ночь. Матвей выбрал минуту, когда слуга отлучился, и спер одну из бутылок с драгоценным бургундским. «Не обеднеют они в Варшаве, – решил он, – везти вино и не дать попробовать – это чистое безобразие! В конце путешествия вместе и разопьем». А пока он завернул бутылку в плащ и спрятал за подушку на своем сиденье.

Случались в карете и политические разговоры. Виктор как-то заявил уверенно, что после смерти короля Августа II на польский трон, конечно, вернется Станислав Лещинский, потому что этого хочет Франция и Бог. Матвей в Париже привык к этим разговорам и никогда не возражал: Лещинский – так Лещинский, а тут вдруг заупрямился:

– Кому польским королем быть, покажут выборы.

– А выборы именно это и покажут. Лещинский уже был законно выбран, и если бы не ваш царь Петр I, до сих пор бы сидел на польском троне.

– Дался вам царь Петр! Поляки сами выбрали себе короля. Они славяне, и потому интересы России им ближе, чем интересы Франции.

– Поляки – католики, а католический мир един. И если Россия ввяжется в польскую проблему, начнется война.

– Не говорите так, Виктор! У вас для этого нет оснований. Вот вы едете в Варшаву по посольским делам. Я правильно понял?

– С чего это вы взяли? – встрепнулся Виктор.

Матвей рассмеялся.

– А что делать сейчас французам в Польше, как не интриговать? Не на пикник же в самом деле вы туда едете? И потом, я сам слышал, как в разговоре с Гебелем вы упомянули имя вашего посла в Варшаве, маркиза Монти.

– Маркиз Монти мой родственник.

– Четвероюродный дядя троюродного дедушки.

– А вам не кажется, юноша, – влез в разговор Шамбер, – что вы, как говорят в России, лезете в чужой огород со своим уставом? – Пословицу он произнес по-русски.

Матвей аж поперхнулся от смеха.

– Это какой же в огороде может быть устав? Чтоб репа быстрее росла?

– Голова у вас, как репа, – проворчал Шамбер. – Только не хватайтесь за шпагу! Я пошутил и прошу у вас прощения. – Он надвинул козырек своей немыслимой шляпы на лоб и закрыл глаза.

Они благополучно миновали границу Франции, потом Саксонии и въехали в Польшу. Путешествие подходило к концу. Последняя гостиница, в которой им предстояло ночевать, отстояла от Варшавы в сорока верстах или около того.

## 5

Матвей проснулся от озноба и нестерпимого зуда, лицо и руки так и горели. На ногах его лежал Прошка, лежал неудобно, лицом вниз, тоже перепил, негодяй! Матвей с трудом выпростал ноги и сел. Где это он? Кисть руки горела от волдырей, такой, наверное, была и рожа. Как они в крапиве-то очутились? Лес, тихо... Солнца не видно, погода пасмурная, листочки на кустах подрагивают от ветра.

Ну давай, глупая голова, вспоминай! Ночью в трактире они решили отметить конец путешествия и крепко поспорили. Спор был серьезный – какая нация крепче, русская или французская. В том смысле, кто кого перепьет. Виктор обидно скалился и говорил про знатные французские виноградники и известные всему миру вина: «Да мы в своем отечестве вино вместо воды употребляем... с детства. Француз не пьянеет!» Матвей горячился, упрекая бордоские,

бургундские и прочие шампанские за то, что слабо пьянят, и славил русскую, из пшеницы полученную чистейшую влагу. Поскольку о драгоценном вине, схороненном под сиденьем, Виктор словно забыл (украденная Матвеем бутылка тоже была здесь ни к чему), а водки под рукой не было, спорить стали, подкрепляя свои аргументы местной, весьма забористой брагой и плохим венгерским польского розлива. Еще пили английский ром, который, желчно посмеиваясь, выставил месье Шамбер. Не пожалел рома, скотина! Сам он не пил, в этой дуэли он был секундантом. Проклятый шамберов ром Матвея и доконал.

«Неужели француз-каналья меня перепил? – с тоской подумал Матвей. – Перепил и в крапиву выбросил. Мол, мы почти в Варшаве, дальше сам добирайся как знаешь. Понятное дело, кому захочется долг сполна платить, если есть возможность отдать только половину? Уши оборву! А может, я себе чего-нибудь позволил? Может, за шпагу хватался? Вроде нет...»

Матвей огладил бугристое лицо. Левая рука была перепачкана какой-то липкой дрянью и воняла кисло. Батюшки, да это кровь! Остатки хмеля слетели с него разом. Значит, все-таки дрались! Подожди, подожди... А ведь он помнит, как его ташили, на руках ташили, а потом он привычно плюхнулся на подушки, задев головой шляпку гвоздя. Этот гвоздь, торчащий косо из обшивки, всю дорогу ему мешал. Значит, до кареты его донесли, скотину пьяную. Что же он делает здесь в крапиве в компании Прохора?

Тут он вспомнил про документы и деньги, зашитые на груди под подкладкой камзола. На месте... Покойный батюшка всегда учил: паспорт и кошелек в дороге держи укромно. Если разбойник за просто так кошелек не срежет, то на мертвом подкладку пороть не станет, а посему будет на что и похоронить добрым людям, и имя на кресте они смогут написать.

Он с трудом поднялся. Болело бедро. Фу-ты ну-ты! Опять кровь. Что же это за шпажный бой был, если его в задницу пырнули? Штаны попортили. Выходит, ранили человека и выбросили из кареты, как куль.

– Прощка, вставай, пора! – прикрикнул он негромко. – Хватит валяться-то! Тут барин бедствует, а он дрыхнет!

Матвей с трудом нагнулся, схватил слугу за плечо и тут же отдернул руку, Прохор был мертв.

Батюшки мои! Только тут он заметил в прогалине меж кустов карету и пошел к ней, хромая, ноги были чужими, ватными, зубы выбивали дрожь. Дверцы кареты оказались раскрытыми, на задке все так же высился притороченный багаж, невыпряженные лошади щипали листья с кустов. Впрочем, от четырех лошадей осталось только две. Угнали, сволочи! Но почему не всех? На подножке кареты лежала задранная вверх нога в щеголеватом красном сапоге с серебряной шпорой, голова обладателя сапог покоилась в кустах.

Они все тут лежали... и сидели – в самых нелепых позах. Виктор-бедняга с дыркой во лбу лежал, раскинув руки, глаза смотрели в небо, выражение лица удивленное, белоснежный его парик стал черным от крови. Пьер свернулся калачиком под колесом кареты. Кучера, видно, подстрелили первым, он так и сидел на козлах с вожжами в окоченевших руках. Поодаль лежали еще двое, судя по костюмам, местные.

Напали, значит, на карету. Хорошо бы рассмотреть главаря. Матвей вытащил обладателя красных сапог из кустов. Лицо атамана скрывала черная маска. Аккуратная, опаленная по краям дырочка в бархатном камзоле говорила о том, что пуля попала прямо в сердце. Матвей стянул маску с лица: молодой, холеный, на разбойника не похож. Да и что это за разбойники такие, которые на карету напали, а сундуков с добром «не тронули»? Значит, они что-то другое искали... Вокруг битые бутылки... Пустой бочонок на боку. Вино после боя лакали. Почему всех порешили, а его не тронули? Хотя почему «не тронули»? Видно, и по нему стреляли, когда Прощка волочил его безжизненное тело подальше от всей этой кутерьмы. Одной пулей задело ему бедро, другой убили Прохора. Вполне вероятная картина... А где этот, Огюст

Шамбер? Матвей еще раз обошел вокруг кареты, обшарил все кусты. Ни мертвого, ни раненого Шамбера, его мучителя, не было.

Матвей перекрестился судорожно. Теперь думай что делать. Первой мыслью было – обратиться отсюда подобру-поздорову. Его судьба пощадила, так не медли, беги! Лошадь выпряги и скачи на все четыре стороны! Нет, на четыре стороны не надо, а надо домой, в Россию. Воспоминания о доме направили его мысли в другое русло. Он-то домой вернется, а Прохор-бедолага – никогда. Слуга он был, конечно, кой-каковский, враль, неряха, да и подворовывал. Но он жизнь хозяину спас. «Спасибо тебе, Прохор». Матвей поклонился в сторону лужайки, где лежал убитый.

А может, я не так все было, может, и не он меня спас, а слепой случай. Но все-таки Прохора в лесу бросать негоже. И опять же Виктор... Он хоть и католик, да ведь Матвей с ним почти что дружил. Ну не дружил, а так... поговорить любил. С Виктором не подружись, он хотел во всем свою выгоду иметь. Но ведь довез до Варшавы! Как обещал, так и сделал. Что ж его, мертвого, да с таким удивленным лицом здесь бросать? Нет, так не пойдет. Похоронить надо, отпеть Виктора и его людей по католическому обряду, Прохора – по православному. Этого, в маске, тоже, поди, по католическому. Теперь у него не спросишь, в какой вере крещен, лежит как бревно, со шпагой в руке. Кто его подстрелил-то? Наверное, Шамбер. Даже если французская нация выиграла справедливый спор, Виктор с утра был более для опохмелки пригоден, чем для боя. А такой выстрел могла вклепить только твердая рука. Шамбера, очевидно, захватили в плен и увели с собой так называемые разбойники.

Смертельно хотелось выпить. Неужели эти негодяи все вино перепортили? В карете было полно битых бутылок, лужа вина на полу смешалась с кровью. Он начал выкидывать негодную посуду – у всех бутылок было отбито горло, словно тесаком по ним лупили. Он поднял бочонок, может, хоть на дне остался плоток? Бочонок был пуст, если не считать приклеившийся ко дну золотой луидор. Он-то как сюда попал?

И тут он вспомнил о припрятанной, в плащ закутанной бутылке. Ух, повезло. Матвей взломал сургуч. Вот и помянет он всех разом! На драгоценное бургундское не похоже, эдакую кислятину в Париже продают в любом занюханном трактире по два су за ведро. А тяжеловата бутылка-то! Что там на дне перекатывается?

Он хотел вылить остатки вина на землю, но удержался, допил до конца. На дне бутылки были золотые монеты и... да это же алмазы! Пять штук... величиной похожие на тот, в булавке, что Виктор забрал у него перед дуэлью. Ну и дела! Значит, Сюрвиль тайно вез в Варшаву золото и ценности. Чьи? Зачем? Этого Матвей никогда не узнает. Да и не надо ему этого знать. Одно точно: с ним Виктор рассчитался сполна.

Матвей затащил покойников в карету, положил их, уже окоченевших, рядом – прямо скажем, нелегкая работа! Потом поправил упряжь, сел на козлы и поехал вперед. Лес скоро кончился, пошли перелески, потом поля. Менее чем через час он въехал в деревню. На околице стоял старинный кирпичный костел, в тени лип укрылось кладбище в каменной ограде. «Вот здесь вам, ребята, и лежать», – подумал Матвей с грустью.

Он оставил карету на площади у костела и пошел искать ксендза. Матвей не настолько хорошо говорил по-польски, чтобы внятно объяснить произошедшее. Кроме того, он не хотел вдаваться в подробности. Версия его была такова: ехали в карете, потом он отлучился ненадолго, а когда вернулся, нашел своих спутников... словом, в бедственном положении.

– Пойдемте же, господин ксендз. На карету напали разбойники. Вы сами все увидите. Семь человек... Я их привез сюда.

Старый ксендз шурился ласково и вежливо кивал, а когда Матвей привел его к карете и открыл дверцу, тот ахнул в ужасе, перекрестился и начал шептать молитву.

– Их похоронить надо. Документов на покойниках нет, я проверял. Очевидно, разбойники унесли бумаги. Но имена, какие знаю, я назову. Вот этот – Прохор Свиблов, его хоронить

по греческому обряду. Прочие все католики. В окровавленном парике – вот этот, Виктор де Сюрвиль, так и на кресте напишите. – Матвей подумал и добавил: – Рыцарь.

– Вас-то как зовут? – спросил ксендз, поворачивая к Матвею скорбное лицо.

А зачем вам мое имя? Я жив... Вот деньги на похороны. – Он вложил в руку ксендза две золотые монеты.

Меж тем около кареты с ужасным грузом стала собираться толпа. По приказу ксендза мужчины начали, вынимать трупы и укладывать их в ряд на траве. Пока вынимали убитых французов и несчастного Прохора, толпа, сочувствуя, горестно шепталась, пристойно, но без эмоций, однако когда дошла очередь до верзилы с опущенной к подбородку маской, настроение толпы переменялось. Его, как и двух незнакомых Матвею разбойников, положили отдельно. Женщины подняли не просто плач – вой, а мужчины собрались группой и стали шушукаться, враждебно поглядывая на Матвея. Видно, рыжий верзила был хорошо знаком сельчанам, и за его смерть они собирались спросить с привезшего мертвецов человека.

Тут на площади появилось новое лицо: высокий гайдук<sup>2</sup> в синем жупане со шнурками, в красных сапогах и остроконечной шапке. При взгляде на трупы он что-то крикнул гортанно, и тут же в руке его взвилась сабля. Вся площадь разом закричала, и над головами сельчан замелькали дубинки.

– Уезжайте немедленно! – крикнул Матвею ксендз.

– Господи, я-то здесь при чем?

Трудно писать о том, что было двести шестьдесят лет назад. Ушедшие в никуда годы превращаются в некую прерывистую, быстро бегущую завесу, через которую иные эпизоды видны, а иные нет. Словно стоишь ты перед несущимся товарняком и мир по другую сторону поезда видишь только в промежутках между мелькающими вагонами. Голосов и вовсе не разобрать, только гул стоит. Мужик поднял дубину, но ты не видишь, как он ее опустил, и не понимаешь, почему он уже лежит на земле и закрывает лицо, в которое угодил чей-то кулак. Женщины безмолвно вскидывают руки, царапают в горе себе лица, а гайдук все не может опустить свою саблю, кто-то ему мешает и не дает совершить еще одно смертоубийство. Меж тем ксендз – он один не потерял разума в этой дурнотно кричащей, воинственной толпе – сует, в руки Матвея уздечку и толкает к лошади. А кто выпряг ее из кареты, когда успели – неизвестно.

И вдруг все – спала завеса! Проскочил поезд, и звуки мира не заглушаются его грохотом. И свист ветра ворвался в уши, и звонкая ругань Матвея. Он скачет вперед, бросив карету, и свой багаж, и непохороненных мертвецов. Он хотел как лучше, а вот ведь что получилось. Чуть не убили, идиоты! А за что? Ладно, он и без багажа доберется до России. Деньги у него есть, и паспорт, спасибо батюшке, на теле. Он жив, а это главное!

## 6

### Историческая справка I

Ну, теперь поговорим о политике. Чтобы понять подоплеку нашей интриги, необходимо хотя бы начерно ознакомиться с состоянием дел в Европе в описываемое время.

После тридцатилетней, страшной, религиозной войны (1618–1648 гг.) Европа по-крупному не воевала. Желания государств остались прежними: расширяться самим и не дать усилиться соседям. Но расширение государства может идти не только за счет войны, зачастую дипломатия действует успешнее. Например, в каком-то государстве пресеклась династия

---

<sup>2</sup> Гайдук – слуга, выездной лакей в богатом помещичьем доме.

и кровные родственные связи позволяют соседним королям рассчитывать на присоединение к своим владениям осиротевших земель. В XVIII веке было три больших свары за так называемое наследство: за земли испанские, австрийские и, наконец, за польскую корону.

Первой началась война за испанское наследство, потом на повестке дня встали вопросы австрийский и польский. Австрийский император Карл VI был уже на пороге смерти. Он не имел сыновей. Огромную его империю, согласно «прагматической санкции»<sup>3</sup>, должна наследовать дочь – Мария-Терезия. Но другие европейские государства (Бавария, Саксония, Пфальц) претендовали на австрийский престол по мужской линии. Дальше дело пошло так: признаешь прагматическую санкцию (согласен считать Марию-Терезию наследницей) – ты друг Австрии, нет – ты по ту сторону барьера, а значит – собирай войско, объединяйся с соседями и будь готов при первом удобном случае вцепиться волчьей хваткой Австрии в бок. Вся Европа переругалась из-за прагматической санкции, а дряхлый Карл VI как был «на пороге» смерти, так и пребывал там еще десять лет. Десять лет в мироздании – миг, в политике – огромное время.

Европа вовремя опомнилась: как бы за прагматической санкцией не прозевать дел Польши. Август II, курфюрст саксонский и король польский, тоже находился на пороге смерти. Но в Речи Посполитой дела обстояли особым образом. Польша почитала себя республикой, и король был там должностью выборной. Значит, надо думать всем миром, кого посадить на польский трон.

Удивительная все-таки вещь! Более всего Россия на протяжении своего существования воевала с Турцией, Польшей и Швецией, и читатели, наверное, меньше всего знают историю именно этих государств. Я не про специалистов говорю, а про обывателей. С историей Франции нам помогли познакомиться Дюма и фильм «Фанфан-Тюльпан», с Англией – Шекспир и Вальтер Скотт, с Италией и Грецией – Данте, чинквеченто и прочие «ченто», а вся история Польши держится у нас на двух именах: Коперник и Шопен и еще, пожалуй, Лжедмитрий.

Итак, Польша, ближайшая соседка России. Было время, когда Польша посадила своего ставленника – Дмитрия на русский трон. А королевича Владислава сами звали на московский трон. Потом настало время, когда исчезла не только Речь Посполитая, но и сама Польша стала называться Привисленской губернией. Но это уже XIX век, а у нас пока первая треть XVIII.

В 1697 году умер король Ян Собеский – просветитель, умница, при этом блестящий полководец. Однако энциклопедия пишет, что король Ян Собеский не обладал государственным умом (на энциклопедию никогда не угодишь!), а посему великие победы его в битве с Турцией не принесли его родине большой выгоды.

И вот он умер. Европа жила в ожидании выборов нового польского короля. Претендентов на польский трон было двое: французский принц Конти и Август – курфюрст саксонский. Россия поддерживала последнего. Август был энергичным человеком, не щадил средств, его агенты провели огромную работу в Польше – одних подкупили, других уговорили, третьим пообещали. Принц Конти оказался побежденным.

Коронация Августа II произошла в Кракове. На польском престоле он просидел – с некоторыми перерывами – тридцать шесть лет. Народ прозвал его Сильным, хотя поведение короля часто говорит об обратном.

Встреча Петра I с Августом II состоялась в Польше, в Раве. Это случилось в конце первого заграничного вояжа царя. Находясь в Вене, Петр получил из Москвы известие о восстании стрельцов – исконных врагов своих. Он немедленно бросился домой, скакал день и ночь, но в дороге его догнало новое сообщение: восстание подавлено, ваше величество, можете не торопиться. Вот тут-то он и завернул к королю польскому, курфюрсту саксонскому. Король и царь пировали три дня и очень понравились друг другу. Они были почти ровесниками –

<sup>3</sup> Прагматическая санкция объявляла наследницей австрийского императора Карла VI его старшую дочь Марию-Терезию.



обоим по двадцать пять лет, оба гигантского роста и огромной физической силы, оба жизнелюбцы, только Август изнурял себя всяческого рода удовольствиями – большой был охотник до вина и женщин, а Петр – работой до седьмого пота.

Петр искал в Августе союзника в будущей Северной войне. Эта встреча закончилась устным договором против Швеции, заложившим основание для будущего Северного союза. Тогда Петр понял, что в войне с Турцией в Европе у него нет союзников, а посему выход к морю надо искать не на юге – в Черном море, а на севере – на Балтике. Война Швеции была объявлена сразу же, как Петр подписал тридцатилетний мир с турками. Случилось это 9 августа 1700 года. Продолжалась Северная война двадцать один год.

Первая битва с Карлом XII под Нарвой была проиграна русскими с огромными потерями. Шведскому королю исполнилось только восемнадцать лет. Это был истинный рыцарь военных утех. Всю свою последующую жизнь он не пил вина, не был женат, не имел любовниц, военный лагерь стал его домом, Карл XII был чужд вероломства и действовал всегда открыто и честно. Победив русских при Нарве, он считал их настолько слабыми противниками, что даже не стал преследовать убегающую армию.

Все свои усилия Карл направил на уничтожение союзников России. Дания, еще до битвы при Нарве, капитулировала без единого выстрела, а с Польшей пришлось воевать. Между тем Петр I собрал силы и начал бить шведов на Балтике. К весне 1703 года русские отвоевали у шведов побережье Невы и взяли крепость Ниеншанц. Сбылась давняя мечта России, она получила выход к морю. 16 мая 1703 года была заложена деревянная крепость Санкт-Петербург, ставшая через десять лет столицей Российской империи.

Но вернемся к Августу II. В отличие от русской армии поляки терпели от шведов одно поражение за другим. Захватив половину Польши, Карл XII в 1704 году в Варшаве созвал польский сейм и посадил на трон нового короля – Станислава Лещинского, человека образованного, умного, но по складу ума скорее ученого, чем полководца, а потому, с точки зрения историков, пассивного и слабохарактерного правителя. Август II, не желая расставаться с короной, тоже созвал сейм в Сандомире и провозгласил решение варшавского сейма недействительным. В Польше установилось двоевластие.

Карл XII ненавидел Августа II. «Поведение его так позорно и гнусно, – писал он французскому королю, – что заслуживает мщения от Бога и презрения всех благомыслящих людей». Карл дал себе слово сокрушить Августа II, а уже после посчитаться с Россией и вернуть отвоеванные Петром I земли. Вскоре шведы заняли Лейпциг и Дрезден. Августу II ничего не оставалось, как сдаться на милость победителя и отказаться от Польши в пользу Станислава Лещинского.

К этому же времени относится измена Петру I гетмана Мазепы, который «отложился к ляхам» и договорился с Лещинским и Карлом XII, что в случае их победы над Петром I вся левобережная Украина опять перейдет под власть Польши.

Все решила Полтавская битва в 1709 году. Карл с Мазепой бежали в Турцию. Грозная шведская армия перестала существовать. Стремясь возродить Северный союз, Петр приехал в Польшу и опять посадил на трон Августа II. При этом царь вручил королю осыпанную алмазами шпагу – трофеем Полтавы. Когда-то эту шпагу Петр уже подарил Августу II, тот, потеряв престол, передал ее Карлу XII, а последний потерял ее под Полтавой.

И вот теперь Август II одряхлел и нужно думать о будущем. Франция предложила в короли свергнутого Станислава Лещинского, к этому времени он уже стал тестем юного Людовика XV. Париж взялся за дело самым серьезным образом. Если Август II в свое время потратил на выборы, высосав всю Саксонию, 10 000 гульденов, то Франция не беднее. Она купит всю польскую шляхту, и те прокричат на выборах Станислава Лещинского. Но важно загодя узнать расстановку сил в Европе. Австрия, давняя противница Франции, конечно, имеет своего кандидата на польский престол, ее даже не стоит переубеждать. Дру-

гое дело – Россия. Анна Ивановна недавно вступила на трон, ее политические пристрастия не вполне известны, и Франция решила: если вести тонкую политику, то, может быть, и удастся склонить Россию на свою сторону.

Выехавшая из Парижа карета с Виктором Сюрвилем и Шамбером имела к этим замыслам Франции самое прямое отношение.

## 7

Не будем томить читателя подробностями дальнейшего путешествия Матвея Козловского, в котором не произошло ничего существенного. Минувя Варшаву, выехал он к русской границе, без задержки миновал заставу, а далее через Смоленск поскакал в родную подмосковную усадьбу, находящуюся как раз на границе с Калужской губернией.

Когда Матвей прибыл к родным лесам, совсем обвечерело, даже знакомый с детства мостик через речку Нару он нашел с трудом. Лошадь нырнула под низко растущие ивы, гулко прошла по скользким, замшелым бревнам и взобралась на крутой, ольхой поросший берег.

Взору Матвея открылись три равновеликих холма. Закатное солнце сделало рельефной знакомую с детства картину. На ближайшем к усадьбе холме раскинулся яблоневый сад, другой холм поверху зарос сосновым бором, третий, со срезанной верхушкой, казался кудрявым от окаймляющей его дубовой рощи. Из-за этой красоты сельцо и называли Видным. Мать честная! Как он мог столько лет жить вдали от родимых мест?

Однако очертания холма как-то изменились. Матвей с трудом сообразил, что исчезла деревянная церковь с колокольней. Куда же это она подевалась? Или Иван надумал перенести старинный храм поближе к усадьбе? Зря... Без церкви дубовый холм выглядел словно осиротелым.

Матвей тронул поводья и медленно поехал вдоль реки. Здравствуй, кузница с неумолчной наковальней! Привет тебе, скотный двор! Спрятанный за березовым леском, он напомнил о себе далеко разносящимся в вечернем воздухе мычанием коров и звяканьем подоюников. Нерешительно зажглись первые звезды, дрожащие, словно пламя восковых свечек в храме.

Тропинка повернула вбок, пошла в гору и наконец втекла под крону лип, перемежающихся с орешником. Аллея вела прямо к заднему крыльцу родительской усадьбы. По дороге встретились двое, мужик и баба, заулыбались – молодой барин приехал, поклонились ему в пояс. Матвею хотелось сказать им что-нибудь ласковое, но он не только не помнил их имен, а растерял вдруг все русские слова, которыми надобно приветствовать дворню. Ответил растроганно: «Здравствуйте, здравствуйте...» и поехал дальше.

Усадьба казалась безлюдной, никто не вышел из дома встретить его. Цветник у нижней террасы выглядел неухоженным, понятное дело – осень: но клумбы не были перекопаны, бурьян заглушил цветы. На втором этаже, где жила сестра, теплилось огоньком окно, прочие были темны.

– Эй, кто-нибудь!

Из-за угла дома выглянуло девичье лицо и тут же скрылось. Раздался чей-то крик. Потом Матвей увидел, как от конюшни бежит старый кучер Фома.

– Батюшки светы, милый барчук приехали! С приездом, сейчас лошадь приму.

На крыльцо вышел молодой мужик в ливрее, лицо незнакомое, не улыбочливое.

– Доложи их сиятельству, что молодой князь приехал.

Матвей прошел в гостиную. Барский дом был построен лет тридцать назад, в начале царствования Петра Великого, взамен обветшавшей старой усадьбы. Строили с размахом. На каменном фундаменте поставили тесовые хоромы в десять комнат с высокими окнами, потом возвели второй этаж, где размещались помещения для дворни. Позднее пристроили

мезонин с отдельной лестницей – покои Клеопатры. В гостиной все было по-прежнему, только стулья спрятали в чехлы да ковер убрали, на натертом воском полу виднелся белый квадрат.

– Приехал, значит, – раздался за спиной голос брата, он вошел в комнату неслышно, бочком обошел стол и встал перед Матвеем. – Обнимемся, что ли, чай, христиане.

Обнялись, сели. Иван спокойно, не мигая рассматривал брата и молчал.

– Я голоден, как черт, – сказал Матвей и сам удивился раздражению, которое в нем вспыхнуло. Не такой он представлял встречу в родительском доме.

– Я распорядился, соберут кой-чего, – кивнул Иван и вдруг крикнул звонко в темноту: – Серебро подай, праздник у нас.

– А где Клеопатра?

– Я велел позвать, сейчас спустится. – И опять умолк, тишина повисла, как паутина.

Вот ведь как жизнь переиначилась! При батюшке дом напоминал растревоженный улей, дворни было человек сорок: дворецкий, буфетчик, камердинеры, несколько поваров, кондитер, кучера, егеря – всех не перечислишь, и все эти люди куда-то бежали, торопились, гомонили, а теперь тихо, как в брошенном подворье. Встреча с сестрой была более теплой, но от Матвея не ускользнул ее быстрый в сторону Ивана взгляд, она словно ждала от старшего брата какого-нибудь знака – поощрения или укора, чтобы знать, как вести себя дальше.

Все трое из оставшихся в живых детей Николая Никифоровича Козловского разнились не только характером, но и внешностью. Старший Иван с детства удивлял родителей взрослой обстоятельностью в суждениях и младенческой плаксивостью. Обычно без слез в глазах он корчил кислую мину и начинал на одной ноте визгливо и скучно жаловаться на слуг, отцовскую кобылу, норовившую пнуть барчонка, сороку, якобы стащившую у него нательный крестик, престарелую суку Зорьку, выхватившую у него вкусный кусок, что было совершенно невозможно. Его рот растягивался до лягушачьих размеров, востренькие любопытные глазки исчезали, и дворня шепталась: очень уж непригож юный князь, можно сказать – уродец. Кто-то из родни мимоходом заметил отцу, мол, Иванушка-то личиком не вышел. Николай Никифорович в свойственной ему категоричной манере заметил: «А зачем мужчине красота? Лошадь от него не шарахается, значит, красавец. В мужчине главное – ум». Ума Ивану было не занимать. Еще в детстве появилась у него страсть к накопительству, хранил всякий вздор: порванную нитку бус, застежку от старого кошелька, пробки от бутылок. Теперь в копилке Ивана уместилось все отцовское богатство: деревни, люди, леса и пашни.

К тридцати годам он превратился в длинного, плоскогрудого господина с пышными светлыми волосами, всегда нахмуренным лбом и хмурым, тревожным взглядом. Детская плаксивость обернулась и вовсе неожиданным качеством, он стал вести себя как прокурор: каждый перед ним был в чем-то виноват. Себя он почитал справедливейшим человеком на свете, но как-то всегда эта справедливость оборачивалась ему на пользу. Непомерную жадность свою он называл бережливостью, а необходимость расстаться с любым видом собственности причиняла ему чисто физическую боль, что-то ныло внутри, сокращалось, а щека начинала дергаться беспокойным тиком.

Сестрица, как уже говорилось, звалась Клеопатрой, была она годом старше Матвея. Можно, конечно, предположить, что в момент появления дочери на свет маменька что-то прочитала про египетскую царицу и, восхищенная ее судьбой, а также двумя нездешними красавцами, Антонием и Юлием Цезарем, – решила назвать маленькое, круглолицее, с носом кнопкой и замшевыми щечками создание экзотическим именем. Но скорее всего имя «Клеопатра» запало в сердце Анне Петровне где-нибудь на петербургских «машкерадах», до которых она была большая охотница. В ожидании очередного ребенка она молилась истово, чтоб новоявленный младенец родился красивым, все остальное приложится трудом и старанием, тем более что этот бесплатный дар, кроме как молитвой, не заработаешь. В двадцать три года Клеопатра так и не стала красавицей, но была очень мила, и имя ее не звучало насмешкой. В отличие

от худых и высоких братьев, она была круглолица, полногруда, с пышными покатыми плечами, тонкой талией и пухлыми ручками, на которых жеманный мизинец тоже изгибался полукругом.

В России не любят тощих, по всем канонам она была невеста хоть куда, но не везло Клеопатре, не могла она никого пленить настолько, чтоб этот некто пренебрег малым приданым и полным отсутствием земель, которые давали бы за невестой.

Ужин прошел в чинной беседе. Матвей ждал вопросов о Париже или вскользь брошенного замечания о заграничной жизни, от которого он мог бы перейти к объяснению своего неожиданного приезда, но Иван, раньше молчаливый, никаких вопросов не задавал, а без умолку говорил сам, и все о деревенских делах: о мельнице, требующей ремонта, о сгоревшей в дубовой роще церкви – новую надо ставить, о малом урожае ржи, скромном приплоде в стадах, словом, «все крестьяне спились, и земледелие упадет». Никогда доселе не слышал Матвей, чтоб столько болтали о делах сельских, для этого управляющий есть. Клеопатра молчала, только испытующе смотрела на Матвея, глаза ее все время подозрительно блеснули.

– Ладно, поздно уже. Что свечи зря жечь? Придет день, все важное и обговорим, – сказал Иван и встал.

Для ночлега Матвею отвели гостевую, сказав, что его бывшая комната еще не прибрана. В гостевой же горнице только и успели, что обтереть пыль. Неприютное помещение... Одинокaя свеча в шандале из трех рожков – на всем Иван экономит! – осветила ложе, сработанное деревенским мастером, кованый сундук у стенки и рукомой у входа.

Матвей смертельно устал, и казалось, лишь донесет голову до тощей подушки – сразу провалится в сон. Но мечтам Матвея не суждено было сбыться. Он только успел снять сапоги, как в дверь осторожно постучали. И тут же на пороге возникла испуганная Клеопатра. Она поднесла палец к губам и, призывая к тишине, пытливым взглядом окинула комнату, словно ожидала увидеть в затененных углах злоумышленников, потом улыбнулась и прошептала:

- Пойдем ко мне. Здесь нас могут подслушивать.
- Кто? – не понял Матвей.
- Нетопыри да мыши.

## 8

Комната Клеопатры на втором этаже была так плотно заставлена всякой ненужной мебелью, что жить в ней можно было, только избегая резких движений. Подоконник заставлен цветами в горшках, на всех прочих горизонтальных поверхностях теснились шкатулки, коробочки с бисером, нитки, пяльцы, мелкие книжицы то ли для чтения, то ли для дневниковых записей. Яркие цветы на холщовых обоях казались выпуклыми, они зримо выступали из стен, уменьшая объем горницы, и казалось, задень локтем этот цветущий луг, и сочные колокольцы польются тебе на голову пахучим водопадом. Лежанка тоже была закрыта вышитым цветами покрывалом и загромождена таким количеством подушек, что непонятно было, где хозяйка спит.

Но все это богатство Матвей рассмотрел уже днем, ночью при свече он увидел только дробящиеся тени и малое свободное пространство со стулом подле столика. На этот стул он и сел, Клеопатра опустилась на лежанку и, как только устроилась удобно в подушках, сразу заплакала, склонив к груди лицо.

– Батюшка помер, – прошептала она с такой интонацией, словно скорбное событие произошло не год назад, а на прошлой неделе и горе не дает говорить ни о чем другом.

Плакала она долго, и Матвей молча гладил ее по плечу. Наконец успокоилась, отерла ладошкой лицо, словно сняла с него печаль, и, ласково усмехнувшись, сказала:

– А ты совсем парижанин. Красивый... Только поизносился в дороге. Неужели вот так верхом из самой Франции?

– Нет. Это уж потом верхами. До Варшавы ехал в карете.

– А багаж твой где?

– Нету, Клепушка, багажа.

Матвей собрался было рассказать случившуюся с ним страшную историю, но передумал. Зачем пугать сестру эдаким количеством трупов? И потом, неловко как-то сознаться, что все произошло, когда он, пьяный, в крапиве лежал.

– Украл, что ли? – ахнула Клеопатра.

– Вот-вот, украл, – ухватился Матвей за поданную мысль, – в Польше... А потому подарочек из Парижа я тебе, Клепушка, не довез. Но ты не огорчайся. В Москву поеду, куплю тебе штуку шелка на платье.

– Бог с ним, с подарочком, главное, что ты вернулся и здесь передо мной сидишь. Уж как я тебя ждала, как ждала! Иван запретил мне тебе письма писать, зачем, говорит, на почту тратиться? Тогда я стряпчему все отписала, Епафродиту Степановичу, да с верным человеком в Москву передала.

– Лялин и вызвал меня в Россию.

– Богородицу благодарю, что услышал Господь мои молитвы. – Она истово перекрестилась на икону. – Ты дома. И вот что ты, Мотя, должен понять: вся наша жизнь в руках Ивана, а братец – наш скарёдный негодяй, хладнокровный и меланхолический.

– Это как же – меланхолический?

– А вот так. Голоса не повысит. Спокойно эдак говорит за завтраком, мол, дурно спал ночь, у него видения и бессонница.

– Какие видения?

– Всякие. Ему на пользу. Давеча говорил, что ему батюшка покойный являлся и сказал: со свадьбой сестры твоей Клеопатры надобно повременить.

– Ничего. Мне завтра тоже во сне явится батюшка и скажет: венчать надо Клепушку, и немедленно. Я тебя и обвенчаю.

– Ничего у тебя не получится, любимый брат, потому что дело в приданом. Ты знаешь, что за мной Иван дает? Серьги и монисты турецкой работы, шали китайские, ковер персидский, молью траченный, и жирандоли без многих хрусталей. Это ли приданое для достойной девицы? А про деньги говорит: это мы потом обсудим.

– Вот и обсудим.

– Ничего ты с ним не обсудишь. Он в разговоре только о своих делах говорит, до твоих ему и дела нет. Он завтра может вообще запереться в своих покоях и носа не показать. Ты не понимаешь, что за человек Иван! Смотри, – она растянула тесемки мешочка, который носила у пояса, и вынула чайную ложку, – с собой ношу, а то есть будет нечем. Он всю посуду попрятал. Я думала, продал. Ан нет, к твоему приезду серебро достал. Но завтра же он все спрячет и опять будем есть на оловянной да деревянной посуде. У ключницы Лукерьи ключи отнял, теперь сам кладовые отпирает и запирает. И все ворчит, угрожает! В доме бояться его, как чумы. А ведь если и сечет людей, то вроде за дело, но более всего нравоучениями мучает и в дальние деревни ссылает. Лукерья говорит, что не может такой мухоморный характер просто так произойти, мол, сглазили Ивана. Но не об этом я с тобой говорить хотела. Послушай, Мотенька, что я тебе расскажу.

В окно с тупым упорством бились ночные толстотелые мотыльки, залаяла собака и смолкла, затем донеслось тихое пение девок-кружевниц, которые плели подзоры, прошвы для подушек и пододеяльников к вечно отодвигающейся свадьбе Клеопатры. Девки-кружевницы и при родителях работали как одержимые. Помнится, когда уезжали осенью в Москву, их с их коклюшками сажали в отдельные подводы, чтобы они и в дороге не ели хлеб даром и были заняты делом. Куда же подевался их плетеный товар? И сейчас в темноте, видно, лучину жгут и все плетут, как парки, сочиняют судьбу Клеопатре.

Глаза у сестры опять стали тревожными. И вои что она ему рассказала.

– Как уехал ты, Матвей, в Европу, так и жизнь у нас кувырком пошла. Не сразу, правда... Жили по-прежнему широко, к обеду по несколько карет приезжало. Хлебосольствовали... А уж когда юный император Петр Алексеевич скончался, в Москве такое началось! Бедный император, я его видела: высокий, статный, пасмурный, словно предвидел он свою скорую кончину.

– Где ж ты видела императора?

– Батюшка взял меня на праздник водосвятия, Уже была назначена царская свадьба с княжной Екатериной Долгорукой. Выезд был роскошный! Она ехала в открытых санях, шубка на ней парчовая, серебряная, а уж хорошенькая! А император стоял на санях сзади, дальше конвой, свита. Холод был ужасный. Церемония длинная, батюшка меня домой отослал, а сам все четыре часа простоял на льду. Я, грешным делом, думаю, что тогда он ноги и застудил.

Как ты знаешь, свадьба царская не состоялась, император умер оспой. Верховный совет заседал в Лефортовом дворце, решал – кого позвать на царство. Когда приехала Анна Ивановна из Курляндии, Москва встречала ее широко, радостно. Потом пошли собрания. Батюшка на всех собраниях присутствовал и стоял за самодержавие, поэтому был принят в числе прочих самой императрицей.

На прием в Кремлевский дворец батюшка поехал уже больной, горячечный. Но потом ничего, отлежался, отпоили мы его чаем с малиной да медом, а по весне он опять захворал и велел переезжать в Видное. С тех пор мы здесь живем и носа на люди не кажем, а двор-то уже не в Москве, а в Петербурге. До Северной столицы никогда теперь не добратся, а здесь скука страшная!

Иван власть в доме постепенно забирал, по зернышку. Видно, батюшка нарочно все так подстроил, чтобы Ивана ко всем делам имения приспособить и чтоб управляющий заранее понял, кто тут хозяин.

Все время батюшка проводил теперь в своей комнате с книгами, про охоту, соседей, сельские пиры было забыто. Только и ездили к нам стряпчий Лялин из Москвы да новый батюшкин друг – господин Люберов, очень достойный человек.

В августе батюшка опять занемог, ходил с трудом, левая нога совсем не слушалась. Лекарей перебывало много! Но от судьбы не уйдешь. Как-то вызвал он утром меня к себе в комнату и строго так говорит:

– Клеопатра, надобно мне с тобой поговорить. Вели закладывать тарантас.

– Зачем же тарантас? Разве в доме поговорить нельзя?

А у самой поджилки трясутся. Батюшка меня никогда полным именем не называл. Клепа... а когда шутит, Заклепкой именовал, при людях – Кларой. А тут могилой повеяло от его речей.

И точно. Поехали мы с ним в дубраву, в церковь Пророка Даниила, это еще до пожара было. Всю дорогу молчали, а как церковь завидели, батюшка и говорит:

– Слабость на меня напала. Чувствую, чадо мое, смерть совсем близко. Завещаю, тут меня и похороните, в Москву не возите.

Я в слезы, а он молчит. Подъехали к погосту. Он из экипажа вышел, мне выходить не велел. Тут к нему отец Александр навстречу. Батюшка-то с палкой, куда-то вдвоем пошли. Долго их не было, почти час. Потом я узнала, что батюшка место себе на сельском кладбище выбирал. Семейной усыпальницей в Москве пренебрег. Иван выполнил волю покойного, и за это братцу спасибо. Да только я думаю, главным здесь была, как всегда, экономия.

Разговор наш с батюшкой состоялся на обратном пути. Остановились мы под горкой, кучера Игната он на ключ отослал. Может, и вправду пить хотел, а всего вероятнее, не желал чужих ушей. И говорит...

Окно вдруг отворилось, кисейная занавеска вздулась от ветра, и Клеопатра стремительно бросилась к окну.

– Кто там? – спросила она испуганно.

– Ты что? – Матвей тоже перешел на шепот.

Клеопатра повернула к нему взволнованное лицо, прижала палец к губам, потом высулась в темноту, по-птичьи повертела головой и только после этого плотно закрыла окно.

– В этом доме подслушивают, а потом все доносят братцу.

– Да мы на втором этаже!

– А лестница?

– Ладно, бог с ними, скажи же наконец, о чем был разговор?!

– Батюшка наш был добр. И последней мыслью его было, как устроить нашу с тобой судьбу. Хотел, да не смог, сам знаешь о проклятом законе покойного императора Петра Великого. – Она подумала и добавила: – Антихриста.

– Ну, ну! Петра I не трожь! Он о России радел. Он был гений.

На щеках Клеопатры вспыхнули красные пятна, глаза округлились.

– Батюшка тоже всегда его защищал: много-де их величество для человечества сделало! А я знаю, сколько величество христианских душ погубило! Да и нашу с тобой жизнь перечеркнуло. Уж нет его, семь лет, как помер, а все боятся правду про него сказать. Петр Великий! – передразнила она кого-то звонким от негодования голосом.

– Что ж не боишься, что подслушают да донесут куда след?! – гневно прокричал Матвей.

– Это раньше их величество Петра I нельзя было ругать, теперь можно! Ты что на меня напрыгиваешь? Что мне слово сказать не даешь? Я тебя сюда позвала об императоре Петре лаяться?

Матвей вдруг словно отрезвел. У Клеопатры был такой обиженный вид, что ему стало стыдно перед сестрой.

– Ну ладно, будет тебе. Значит, вы остановились внизу холма, а Игнат за водой пошел.

– Все мысли ты мне спутал! – проворчала Клеопатра, пытаясь вернуть себе состояние высокой торжественной скорби, и продолжала, придав голосу прежнюю мелодичность: – Последние мысли батюшки были о том, как нашу с тобой жизнь устроить. Вот он и говорит: «По закону о майорате все мои земли перейдут к Ивану. Но приданое тебе Иван достойное обеспечит, это я ему твердо наказал. Матвей после моей смерти пусть домой не торопится. У него в Париже дела хорошо идут, и нечего туда-сюда мотаться, деньги переводить. А как вернется он своей охотой из заграничного вояжа, то пусть немедля едет к стряпчему Лялину. Я нашел способ, чтобы вы, мои младшие дети, жили после моей смерти безбедно». Тут на меня словно оторопь нашла. Сижу, двинуться не могу, а в голове одна мысль – неужели мы сироты? Батюшку разговор, видно, сильно утомил, плечи обвисли, лицо покраснело, а от тела жар, как от печки. Игнат воды принес, так он пил, пил. Я этот кувшин потом к себе в комнату забрала, вон он стоит.

На следующий день к нам приехал отец Александр со святыми дарами. Батюшку причастили, исповедали. Еще день прошел. Опять послали за священником, на этот раз соборовать. Вечером родителя нашего не стало. Завтра мы на могилу к нему пойдем. Грустно там, вместо церкви – пожарище, а на могиле у батюшки простой деревянный крест.

Помолчали.

– Ты еще не сказала мне, за кого замуж собралась? – спросил наконец Матвей.

Несмотря на поздний час Клеопатра решила, что время самое подходящее, и стала рассказывать о женихе, но все как-то сбивчиво. С первых же фраз Матвей понял: сестра совершенно равнодушна к своему избраннику, а если и собралась с ним под венец, то не иначе из желания выбраться из-под опеки Ивана и зажить своим домом. Жених-то явно неказист, небогат, зато «незлой и непьющий».

Очень показателен был рассказ Клеопатры о знакомстве с господином Юрьевым. Не знаешь, плакать после этого или смеяться. А случилось все так: на Николу Летнего, 9 мая, дождь



загнал коляску Ивана, а с ним и Клеопатру в усадьбу соседствующего помещика. Гостей оставили обедать. И вот к столу вышел племянник хозяина, этот самый Юрьев, господин чопорный, томный и с капустным листом на лбу – у него, видишь ли, голова разболелась. Свои головные боли он называл мигренью. Сидишь с капустным листом, так хоть молчи. А господин Юрьев, ласково поглядывая на Клеопатру, принялся объяснять, что в его роду мигреням подвержены все женщины и болезнь эта по наследству передается по женской линии, и единственный случай на семью – он: подцепил женскую болезнь. За столом все начали смеяться, Клеопатра не знала куда себя деть, а Юрьев, как ни в чем не бывало выглядывая из-под капустного листа, продолжал разглагольствовать на ту же тему. Потом лист свалился на радость всем в соусник.

– А вообще-то, он человек хороший. У него небольшая усадьба в Тульской губернии.

– Клеопатра, опомнись! Зачем тебе этот недоумок с капустным листом?

– Ты ничего не понимаешь! Он не недоумок. Он просто не признает глупых условностей. И любит пошутить. Если хочешь знать, то мне это нравится. Дал бы Иван денег, и я была бы счастлива.

Как и предсказала Клеопатра, решительного разговора с Иваном не получилось. А если быть точным, то разговор зашел в полный тупик. Встреча состоялась в бывшем батюшкином кабинете, где Иван сидел теперь как хозяин. Только Матвей опустился на стул и произнес заготовленную фразу: «Меня вызвал в Россию стряпчий Лялин», Иван, сидящий от брата через стол, пододвинул к себе шандал, вооружился охотничьим ножом и принялся аккуратно очищать нагар с бронзовой ножки. Это необременительное занятие довело Матвея до иступления. Когда тот пытался рассказать брату о своей жизни в Париже, о трудной дороге домой и, наконец, о видах на будущее, Иван с отвратительным скрежетом выковыривал оплывший воск из завитушек и насечек, и только когда было произнесено слово «майорат», он, не отрывая глаз от шандала, буркнул:

– Батюшка мне все оставил. Можешь прочесть завещание. Там черным по белому написано.

– Когда завещание составлялось, действовал закон государя Петра о майорате. Сейчас закон упразднен, и я имею право получить свою долю.

– Не надо все валить на законы. Думаешь, не знаю, почему батюшка Слепенки продал? Чтоб долги твои покрыть, долги от беспутной жизни в беспутном городе. Я получил право на владение всеми землями не только потому, что старший в семье. Главная причина в том состоит, что я вел жизнь нравственную, а потому завоевал полное доверие покойного родителя нашего. Права наследства налагают на меня определенные обязательства, а именно: заботиться о тебе и о сестре, а также о вашей добродетели.

– Теперь самое время осуществить высокие слова на деле, – весело сказал Матвей. – Клеопатре замуж пора. Жених есть. Дело за малым, за приданым. И не только вещами, деньги подай.

– Нет у меня сейчас свободных денег. Все потрачено на исправление хозяйственных нужд. Подождет еще Клеопатра, с нее не убудет.

– Понятно, – сквозь зубы процедил Матвей, а сам подумал с облегчением: «С капустным листом покончено!» – А как ты будешь заботиться обо мне? Кров, пища, так, что ли?

– Я тебя из дома не гоню, – промямлил Иван и еще с большим рвением принялся уродовать бронзовый шандал. – Если задумаешь уехать, получишь содержание в разумных пределах.

– А какой предел ты считаешь разумным? Рупь с мелочью в год?

– Рубль тоже надобно заработать.

– То-то я вижу, ты здесь перетрудился! – крикнул Матвей и ушел, хлопнув дверью.

Матвей поехал в Москву верхами, не хотелось просить у Ивана экипаж, да и погода располагала к седлу. Тепло... Небо, право, шелк персидский. Октябрьское солнце уже не припекало, а потому весь свой свет и силу расходовало на создание особой ясности и прозрачности воздуха. Деревья почти обнажились, а уже коли на некоторых особо стойких осинах и березах не полностью сброшен лиственный наряд, то оставшиеся листочки так и полыхают золотом и багрянцем.

Утреннее его настроение весьма разнилось с вечерним. Что есть русский трактир? Мерзость и запустение! Отчего во Франции, скажем, в Сан-Дени, где лошадей меняют, постоянные дворы чисты и без клопов? Цена, конечно, большая, и он готов платить... но чтоб простыни, а не облезлый тулуп, брошенный на лавку в углу. Ну ладно, пусть лавка... в конце концов, это наше национальное ложе, но почему в изголовье не только валиков или подушек нет, но и деревянный скос отсутствует? А завтрак! Он как в Париже привык? Чтоб кофий на подносе, хочешь черный – пожалуйста. А можно с жирной молочной пенкою. И хлеб эдакий длинный, белый, а отнюдь не каравай. Ладно! Пережили и забыли! Он уже к Москве подъезжает.

Взору Матвея открылись стены Новодевичьего монастыря. Какое нежное и волнующее название – Девичий, а как подумаешь: с одной стороны, крепость, с другой – тюрьма. Царь Михаил Федорович боялся войны с Литвой, а потому повелел укрепить монастырь пушками да пищальми, а стены обнести валами и рвами. Белая с красными верхами монастырская стена хоть и имела прицелы и бойницы, никак не выглядела грозной, никогда с этих башен не стреляли, а вот горе в монастыре многие мыкали, и среди прочих царевна Софья, опальная сестра Петра Великого.

Петр I не любил монастырей. Для него монашеская братия была скопищем бездельников, которые отлынивали от военной службы и пренебрегали работой, любимыми его сердцу ремеслами. Высокой духовной жизни монахов, их молений за народ Петр просто не понимал. Поэтому и Новодевичий монастырь он приказал превратить в дом для зазорных младенцев-подкидышей. Нововведение не прижилось. Тогда Петр приказал давать приют заслуженным и увечным воинам. Так и жили при женском монастыре майоры, поручики и просто солдаты – странное соседство с монахинями!

Клеопатру тоже можно понять, когда ругает Петра Антихристом, но это все от женской недалекости.

Да, были противоречия, но человек с государственным умом, радеющим за Русь, должен думать однозначно.

Да и неохота вспоминать противоречия, покой и радость – вот что ощущаешь подле этих стен. А как прекрасна многоярусная башня, радость москвичей, как слепят глаза, главки собора!

И вдруг этот воспитанный в парижских салонах скептик и вольнодум, этот дамский угодник, мнивший себя ловеласом, этот практик, свободный от предрассудков, разом утратил все с трудом приобретенные качества. Взамен их в душе возникло детское умиление, так растрогавшее его, что стыдно стало отчего-то и захотелось прямо сейчас слезть с лошади и совершить... ну не подвиг, согласен, но что-то хорошее, нужное соотечественникам, хоть как-то пожалеть их всех разом, что ли... Однако соотечественников в этот будний день было мало, до калек и нищих на паперти идти далеко. В другом месте благодетельствует он нищих, этого добра на Руси всегда пруд пруди.

По прямому тракту он направился к валу Земляного города, ветряные мельницы приветствовали его взмахами крыльев, коровы и козы бродили по лугу, ощипывая остатки жесткой

травы. Скоро он попал в слободу, которая по имени стрелецкого приказа Зубова называлась Зубовской. Домишки лепились один к другому, за ними раскинулись огороды, сады, крики галок оглашали окрестности, и старая церковь Троицы встречала колокольным звоном.

Пречистенские ворота раньше назывались Чертольскими из-за многочисленных в этой местности оврагов – черторыев. А до самых ворот доходил Сивцев вражек, окаймлявший шумную речку Сивку. После Пречистенских ворот Матвей сразу попал в людскую толчею: здесь торговали рыбой, квасом, кричали извозчики, зазывая седоков, толпились арестанты, умоляя о денежке для своего жалкого кошта, ну и, конечно, убогие, одно слово – Божедомка. Рядом, за церковью Спаса, находились дома, куда божедомы – особые агенты – сносили пьяниц, калек и подкидышей. В их обязанности входило также подбирать и уносить в мертвецкую трупы.

Матвей уговаривал себя, что ему надо поспешать к стряпчему, который днем может отлучиться куда-либо по своим делам, но вместо этого продолжал ехать по дороге, петляющей, беспечной – очень ему хотелось поболтаться по Москве в этот погожий день просто так. Еще надобно посетить Никольскую, где находились лучшие в городе книжные лавки. В Париже он привык думать, что книги – это первое дело, и в Охотные ряды надо, там лавки с заморским шелком, обещал Клеопатре на платье купить.

Богатые боярские подворья стояли рядом с убогими хижинами, за ними церкви, потом голые деревья с лохматыми вороньими гнездами. Рядом виднелся след недавнего пожарища, разбросанные по земле бревна и остатки кровли, и опять шла нарядная улица, и множество народу толпилось на ней. И никто не боялся носить русскую одежду, осмелели после смерти Петра: гладкие и из пестряди<sup>4</sup> длинные сарафаны-шушуну, кофты-шугаи<sup>5</sup>, обозначающие могучие талии, на ногах поршни<sup>6</sup>. Матвей обрадовался, что помнит все эти названия, и подумал вдруг, как много во всех этих русских одеждах буквы «ш», которая скорее шепчет, а не шипит.

Одежды шепчут, а люди орут как оглашенные, продавцы норовят обмануть покупателей, а те продавца. Нагловатая бабенка в немецком платье и епанче, отороченной мехом, держала во рту колечко с бирюзой – знак ее низкой профессии. Она поймала взгляд Матвея, лихо, словно шелуху, выплюнула колечко в кулак и захохотала, закинув голову. Матвей невольно рассмеялся в ответ, но прищипорил коня. Такие уличные знакомства хороши в Париже, но не в Москве, потом от этой беспутницы не отвяжешься.

Встреча с продажной красавицей настроила его на бесшабашный лад. А почему бы не завернуть в приличный трактир, не выпить в честь приезда в древнюю столицу? Он уже повернул лошадь в ближайший проулок, как вдруг взгляд его приковал вышедший из ворот мужчина в черном, великолепно сидящем камзоле, черной шляпе с пером и черных туфлях со стразовыми пряжками. Все это Матвей охватил в мгновение. Три шага понадобилось мужчине, чтобы дойти до кареты. «Француз! На этот счет двух мнений быть не может!» – ликующе воскликнул Матвей про себя и остолбенел: да это же Шамбер!

«Окстись! – прикрикнул на себя Матвей. – Что делать Шамберу в Москве?» Утро в лесу под Варшавой вспомнилось во всех подробностях, и липкие от крови руки, и битые бутылки (с тех пор пить не может!), и запрокинутое лицо мертвого Сюрвиля. Но это еще не повод, чтобы он в каждом мужчине, одетом в черное, видел Шамбера! Он, бедняга, наверное, в плену, а может быть, тоже убит.

Меж тем дверца захлопнулась, и карета легко тронулась с места. И все-таки стоит заглянуть в лицо этому господину. Матвей погнался за каретой, легко ее догнал, но увидел, что окна

<sup>4</sup> *Пестрядь* – грубая ткань, пестрая или полосатая.

<sup>5</sup> *Кофты-шугаи* – род суконной или ситцевой короткополой кофты с рукавами, с отложным воротником, с застежкой и ленточной оторочкой кругом; телогрея, душегрея, теплая кофта.

<sup>6</sup> *Поршни* – постолы, род сандалий, которые шили из одного лоскута сырой кожи или шкуры.

занавешены веселенькими голубенькими шторками. Нет, это смешно и глупо – колотить в дверцу. Она откроется, и он увидит совершенно незнакомого человека... Это уже совсем ни в какие ворота и против этикета.

Матвей остался стоять на месте, глядя на удаляющийся задок кареты. Все, вот уже и за угол завернула. Ничего не произошло. Просто он разволновался, увидев хорошо одетого человека, которому, сразу видно, камзол кроили во французских мастерских. И грустно стало... Матвей понял, что огромное пространство, отделяющее его от Парижа, перегороженное границами с их запретами, исчерченное дорогами, было не просто округлым боком земного шара. Этот ландшафт разделил его жизнь на прошлое и будущее, придав ей элемент необратимости. Никогда не: вернется к нему беззаботность и беспечность французского бытия, никогда...

Он сам не заметил, как повернул лошадь к южным воротам Китай-города и выехал к Москве-реке. На мостках бабы там и сям полоскали белье, мужик в одних портах тянул небольшую сеть, что-то она у него не шла, и он злобно ругался. Вдруг бабы заголосили разом, засмеялись. Одна бросилась бежать, прижимая к груди лохань с бельем, за ней другая... Дождь, оказывается, хлынул, да какой настырный, откуда он только взялся?

Переехав через каменный мост, Матвей подвел итог: он не купил Клеопатре шелка на платье, не подал нищим даже медной полушки и вымок до нитки, как последний дурак.

## 10

Стряпчий Епафродит Степанович жил за Москвой-рекой напротив Кремля на Великих лугах. За лугами шли болота, овраги – Балчуг, что по-татарски означает «грязь». Большие луга в Замоскворечье раньше занимали стрелецкие слободы. Стрельцы были люди вольные, нетяглые и непашенные. При царе Алексее Михайловиче стрельцы имели право на беспоплинную торговлю, поэтому по всей Замоскворецкой слободе стояли их лавки, а другому торговать – не смей! Они были защитниками отечества, а в мирное время несли «вахту» – охраняли царский дворец, казну и приказы.

Стрельцы были люди молодые, резвые, независимые, за что и поплатились. Тридцать пять лет назад по всей Москве стояли плахи да виселицы – царь Петр вершил страшную расправу. Глашатаи кричали царевы грамоты, мол, заговор против государя, сговор в пользу бывшей правительницы Софьи, что сидит в Новодевичьем монастыре и мечтает вернуть былую власть. Народ не разбирался во всех этих дворцовых интригах, кто их там наверху поймет. Но видели, как страшно мучили людей в Преображенском приказе, а потом головы лишали – за вольность, за непокорство, за желание жить по-своему.

Царь даже из казни устроил потеху – всунул топоры в руки неумех – бояр и княжеских детей, всех повязал кровью. Казнить желаешь подданных – казни, на то ты и царь, но зачем же мучить в смертный час? Разве белоручки-бояре с одного удара шею пересекут? Расправы над стрельцами Москва и по сию пору не простила Петру.

После казней древняя столица опустела. Оставшихся в живых стрельцов разослали по полкам в другие города. Дома в Замоскворецкой слободе продавались за бесценок. Тогда и купил стряпчий Лялин подворье у стрелецкой вдовы. Не побоялся, край-то был совсем запустелый.

За тридцать лет вернулась жизнь в Замоскворечье, новые жители по-прежнему занимались торговлей и назывались купцами, стряпчий жил среди них безбедно. Крепенький дом его имел палисад, сбегаящий к Москве-реке сад с огородом, сарайчики, службы – словом, полное хозяйство.

Епафродит Степанович был старым холостяком, обремененным стаей вечно бедствующей родни. Помогал всем, как не помогать, но своеобразно. Человеком он слыл аккуратным,

деньги, хоть и небольшие, у него водились, но счет им он знал, поэтому из своих рук не выпускал ни копейки. Помогая родственникам, время от времени брал в дом на прокорм племянницу, потом двоюродную сестру, потом тетку... Женщины эти, обладающие все как одна кротким нравом и незлобивостью, вели нехитрое хозяйство стряпчего, следили за его гардеробом, а по осени квасили капусту, торговали яблоками, солили огурцы... Словом, при такой заботе о родственниках Епафродит Степанович очень выгадывал: и на служанок тратиться не надо, и титулом благодетеля пожизненно награжден.

Живя уединенно и занимаясь своей скромной и крайне неромантической профессией, стряпчий тем не менее обладал некой авантюрной жилкой. Именно он подсказал в свое время князю Николаю Никифоровичу Козловскому способ обеспечить капиталом молодую поросль – Матвея и Клеопатру. Преданность стряпчего покойному князю была поистине безгранична. Матвей знал, что еще давно, в пору юности, батюшка оказал стряпчему услугу, защитив его от знатного и непорядочного клиента. Кто был этот клиент, Матвей не ведал, да это и не имеет отношения к повествованию.

Тихая племянница, а может быть, внучка, словом, очередная жертва благотворительности, приняла у Матвея мокрый плащ и провела в крохотную, в одно окно горницу – кабинет хозяина. При виде Матвея Лялин изобразил такую радость, развел столько суеты, что Матвей невольно оттаял.

– О боже мой! Ваше сиятельство! Наконец-то! Давно пора птенцу в родительскую скворешню, а то растащат все по нитке.

– Да уж и растащили. – Матвей позволил себя обнять.

– На вас камзол мокрый! – завопил стряпчий. – Где же «чуть-чуть»? Это когда слезами оросишь, тогда чуть-чуть. А тут хоть отжимай. Переодеваться! Зинаида, кувшин горячей воды! И мой шлафор<sup>7</sup> полосатый! Он новый совсем, на теплой подкладке, не побрезгуйте. О делах после. У нас сегодня щи богатые и дичина – утка с яблоками. А также осмелюсь предложить пирожок с рыжиками. Давеча Зина на рынке купила – грибок к грибочку, словно монетки золотые, жалко было в начинку крошить.

Откушали и утку, и пирог, и шербет турецкий – очень вкусное лакомство – и вернулись в кабинет к маленькому, крытому сукном столу со множеством ящичков. Из одного из этих ящичков стряпчий и достал новенькую, в кубовый грезет<sup>8</sup> обтянутую папочку, положил ее перед собой и выразительно поднял брови. У стряпчего были серые усы, лохматый парик в цвет усов, блеклые глаза – весь он был словно пеплом посыпан, поэтому особенно удивительными казались на бледном лице его черные, красиво изогнутые, чрезвычайно выразительные брови. Они украшали хозяина, но при этом зачастую служили ему плохую службу. Все, что стряпчий намеревался скрыть от клиента за безликим, деловым языком, выдавали брови – они восхищались, негодовали, лстили. Вот и сейчас брови встали шалашиком, лицо приняло выражение глубокой грусти, и, хоть речь стряпчего так и дышала оптимизмом, Матвею стало жалко себя.

– Вот здесь все дела и завещание батюшки вашего, – рокотал Лялин, тыча в открытую папку указательным пальцем. – Видите бумаги? Здесь земли, усадьбы, движимое и недвижимое имущество. Беда только, что все эти документы украшены именем их сиятельства вашего братца – Ивана Николаевича.

– Но вы же сами писали, что закон о майорате отменен.

– Так точно. Сенатский доклад об отмене негодного закона уже несколько месяцев как утвержден высочайшим именем... но скрытно... до времени. Чтоб еще большего неудобства не образовалось на Руси. Все сразу начнут требовать свое. Да уж и начали! А судебные

<sup>7</sup> Шлафор, шлафрок – халат, спальная одежда.

<sup>8</sup> Кубовый грезет – холщовая синяя ткань; кубовая – синяя растительная краска, получаемая из растения куб, индиго. Грезет – шерстяная ткань с травчатым узором.

дела у нас дороги и решаются годами. Но все это нас не касается, – упредил он раздраженный Матвеев жест, – потому что мудростью их сиятельства батюшки вашего и стараниями вашего покорного слуги, – стряпчий скромно потупил брови, – предприняты необходимые действия для вашего обеспечения. Дельце обстряпано!

Он быстро переложил все бумаги в папке на левую сторону, оставив на правой одну мелкоформатную бумагу, и ласково ее погладил.

– Вот этот листок, князь Матвей Николаевич, дорогого стоит. Теперь слушайте меня внимательно. Покойный князь, батюшка ваш, написал на себя карточный долг.

– Помилуйте, да он и в карты никогда не играл!

– А кто это знает?

– Да все, кому до этого охота есть.

– Ну, братец ваш на этот долг в суд не подаст.

– При чем здесь Иван? Ради бога, не говорите загадками, не разводите турусы на колесах. У меня и так голова кругом идет.

– Никаких, извольте видеть, колес. При действии закона о майорате земли не разрешалось разбазаривать, то есть продавать. Только в крайнем случае! Но и при этом – крайнем – трудно найти покупателя, такого, чтоб был при живых деньгах. А князь Козловский нашел. И чтоб деревни за пятьдесят тысяч продать, оформил все карточным долгом, для простоты! Покупщиком стал помещик Люберов, не побоюсь этого слова – истинный друг покойного.

– И какие деревни были проиграны, то бишь проданы?

– Две деревни московские с людьми – Барыкино и Слепенки, а также мыза<sup>9</sup> под Петербургом – Отарово, что на заливе.

– Вот жалость-то!

– Не торопитесь переживать. Господин Люберов очень богат, так как многие годы обрелся на государственной службе в Швеции. Говорят, он еще коммерцией занимается, заводы имеет. Какие точно – не знаю, Андрей Корнилович Люберов не мой клиент, и мне его денежные виды без надобности. Передача земель господину Люберову оформлена чин чинном в этой бумаге, но главное содержится на словах. – Голос стряпчего стал торжественным. – Я могу засвидетельствовать, что господин Люберов поклялся своим словом передать вам по смерти друга своего и вашего батюшки пятьдесят тысяч рублей золотом, буде же отменен закон о майорате, а также если вы того пожелаете, вернуть вам в пользование означенные деревни за вычетом 40 тысяч. То есть вы получите с соответствующей бумагой подмосковные деревни, мызу Отарово, а также 10 тысяч.

– *Pas faiblement!* – прошептал Матвей, то есть «па феблема», что при подстрочном переводе означает: «Не слабо!»

– Поскольку сама суть завещания является секретной и передается на словах, то и разделение полученного наследства между вами и досточтимой сестрой вашей Клеопатрой Николаевной тоже не оформлено по всем юридическим правилам. Но имеется собственной рукой князя Николая Никифоровича написанная бумага, в которой означена воля покойного. Сей листок, ввиду тайности предприятия, хранится у меня отдельно. Извольте ознакомиться.

Матвей покорно взял бумагу, почерк отцовский был нетверд, видно, писано незадолго до смерти, когда рука ослабла.

– Вам причитается, – продолжал стряпчий, видно, он знал бумагу наизусть, – две трети наследуемого имущества, буде то в деревнях или в денежном изложении. Досточтимая Клеопатра Николаевна получает одну треть означенного наследства. Если возьмете вы имущество деревнями, то Клеопатра Николаевна получает мызу Отарово, вы же наследуете подмосковные деревни. Теперь задавайте вопросы.

---

<sup>9</sup> Мыза – дача, загородный дом с хозяйством.

Но Матвей вопросов не задавал, он сидел, ошалело глядя на бумагу, мысли его метались: он то благословлял родителя – «лучшего из отцов», то клял себя – «неблагодарнейшего из сыновей», то представлял, какую по получении денег заведет себе конюшню, приличный транспорт – первое дело... Пятьдесят тысяч – это же огромные деньги!

– Что Иван об этом знает? – спросил он наконец.

– Ничего. Все предприятие было оформлено в обход Ивана Николаевича, поскольку у покойного родителя вашего не было никакой уверенности, что братец ваш эти деньги не прикарманил.

– А мне показалось, что брат знает куда больше, чем вы думаете. Он мне сказал, что деревни проданы, а не проиграны. Смекаете?

– Не мог он об этом знать, – нахмурился стряпчий.

– Еще он говорил о моей беспутной жизни в Париже, мол, все деньги туда пошли. Про какие беспутства он толкует?

– Так... сплетни. Рассказывали про вашу дуэль из-за какой-то графини или маркизы, потом, что вы якобы драгоценности, кольца там... булавки снесли к ростовщику.

– Это кто же такое мог рассказать? – От негодования на щеках Матвея вспыхнули красные пятна, особенно обидно было, что все услышанное было правдой, и только диву можно было даваться, как эти сведения долетели до Москвы. – А что батюшка?

– Князь Николай Никифорович был выше любых толков. Но и услышь он о них, значения бы слухам не придал. Дело молодое! И вы об этом забудьте. Сейчас вам надо не отношения со старшим братом выяснять, а ехать в Северную столицу, где господин Люберов обретается. Вот здесь на бумаге описано его местожительство: Васильевский остров, недалеко от храма Воскресения Христова.

– Спасибо вам, Епафродит Степанович.

– Удачи, князь.

По дороге домой Матвей уже трезво оценил положение. Клеопатре до времени он решил ничего не говорить. Сестра обрадуется, обнадежит жениха, ослепленный будущим богатством Капустный Лист начнет атаку. А денег-то еще нет. Знал он людей, которые клялись честью и обязывались словом, а потом исчезали с чужими деньгами в неизвестном направлении. Про господина Люберова он слова дурного говорить не хочет... Боже избавь. И все-таки вначале лучше до Петербурга добраться, а когда деньги будут получены, он обрадует Клеопатру полной мерой.

Теперь обмыслим, как ехать. В Петербурге Матвей решил на первое время остановиться у тетки, Варвары Петровны Фоминой, сестры покойной матери. Виделся он с теткой последний раз перед отъездом за границу, она небось и думать забыла о племяннике, поэтому он решил предупредить свой приезд депешей, которую и отослал в Петербург в тот же день с почтовой каретой.

– Ну что стряпчий? – спросила Клеопатра, завидев брата.

– В деле наследства много неясностей, – туманно сказал Матвей. – Со временем Епафродит Степанович надеется их распутать. А пока мне надобно ехать в Петербург.

Он боялся, что Клеопатра воспротивится его отъезду или, что еще хуже, опять начнет плакать, но та осталась совершенно спокойной, только задумалась ненадолго, потом спросила:

– Куда ж по осенним хлябям-то ехать? Дождись первопутка.

– Не могу. У меня отпуск кончается. В ноябре я должен быть в полку.

– Недельку-то дома побудешь?

– Недельку побуду.

– Вот и хорошо. Визиты соседям нанесем, охоту можно устроить.

Иван, который откровенно обрадовался отъезду брата, расщедрился, обещал дать возок, старый, но крепкий.



Причина спокойствия Клеопатры выяснилась, когда до отъезда осталось три дня. Вот тут-то она и заявила со всей категоричностью: она тоже едет с братом в Петербург. У Матвея руки опустились – такая обуза!

– Как же так? Варвару Петровну надо было об этом упредить. В депеше о тебе ни слова. Ты знаешь, тетушка наша со странностями. Может быть, она и меня не примет.

– Тебя, может, и не примет, ты можешь в казармах жить. А девицу тетенька на улице не выгонит. Ну что ты на меня так смотришь? Я уж и гардероб собрала, осталось только упаковать. Не возьмешь меня с собой, я здесь с тоски зачахну, руки на себя наложу. Неужели ты не видишь, что господин Юрьев от меня отказался?

Когда об отъезде сестры сообщили Ивану, он только пожал плечами. Уехать хочешь? Да хоть на Луну. Только я с себя снимаю всяческую ответственность!

А Клепа и рада, повисла на руке Матвея. Так и поехали в Санкт-Петербург вдвоем, ну и, естественно, камердинер Авдей, вдовый мужик тридцати лет, и горничная Ксения, проказница, вертихвостка и умница, страсть как преданная барышне.

## 11

В Петербург наши путешественники прибыли уже в ноябре и были приняты Варварой Петровной приветливо, но приветливость эта была весьма в меру, тетушка не любила излишних сантиментов. На заверения Матвея, что тот просит крова только на первое время, а потом переедет в казармы или снимет достойное жилье, она ничего не ответила, только головой покивала, мол, там видно будет.

Племяннице Варвара Петровна обрадовалась куда больше, чем племяннику. Мужчин, видно, она вообще не жаловала и говорила о них только осуждающе, де что вы от них хотите: бессердечных, грубых, заносчивых, своевольных, нахальных?.. Клеопатру она с первых дней не отпускала от себя, отвела ей лучшую спальню, а днем сажала в своей комнате в альков (откуда прогнала прежнюю любимицу и фаворитку) и заставляла читать вслух Библию, романы, а случалось, и газету.

Теперь надобно рассказать о главной особенности Варвары Петровны. Жизнь свою из-за парализованных ног она проводила в огромном, обитом зеленою камкою<sup>10</sup> кресле на колесах. Кресло по дому катала безмолвная старуха в русском платье. На всех ступенях в доме были положены обитые сукном доски, при остановке кресла под его деревянные колеса тут же подкладывались для устойчивости специальные чурбачки, а во время чаепития, что происходило раз в десять в день, к креслу прикреплялся специальный столик с узорчатыми бортиками.

На другой же день по приезде Ксюша, горничная Клеопатры, сообщила хозяйке, что «барыня с палочкой ходить могут, но не делают этого по причине изнеженности и тучности». Сведения повариха передала шепотом, это была тайна, которую в доме свято соблюдали. Вообще, слуги о хозяйке отзывались положительно. Все церковные требы она исполняла, имея домовую часовенку, по большим праздникам кресло ставили на специальный экипаж и со всеми предосторожностями ехали к главному храму, где собирался царский двор. Варвара Петровна была строга, но справедлива. Бывало, конечно, и влепит затрещину, если почувствует от слуги винный дух да еще когда тот отпирается, мол, в рот ничего не брал, кроме квасу. Но чтоб на конюшне сечь – такого отродясь не бывало. За важную провинность сажала она нарушителя в подвал в специальную казенку под икону на хлеб и воду. Осужденный получал срок от двух до семи дней – в зависимости от вины – и после полуголодной жизни в полутемном подвале выходил на волю шелковым.

---

<sup>10</sup> Камка – шелковая китайская ткань с разводами.

Несмотря на пятьдесят лет с гаком тетка была все еще хороша, и, хотя иначе как старухой себя не называла, видно было, что относится к этому званию несерьезно. Была она всегда ухожена: волосы прибраны, епанчечка черная тафтяная на соболином меху, бархатная юбка с травяным серебряным узором – красиво!

Лучшие годы жизни Варвара Петровна прожила в Москве. Бригадир Фомин воевал под командой фельдмаршала Шереметева, покорял Ливонию. Известный приказ Петра I, несмотря на его расплывчатость и туманность: «Иттить в даль для лучшего вреда неприятелю» выполнялся весьма успешно, но медленно, а Варвара Петровна тем временем жила в Москве соломенной вдовой и время проводила весело. Это только после Полтавской великой виктории муж «заточил» ее, уже тридцатилетнюю, в Петербург. Тогда и мысли не приходило, что Петр сделает рассеянное по болотам да хлябям поселение своей столицей, приказ об этом последовал пять лет спустя, когда она уже набедовалась в мазанковых хижинах о двух горницах с сениями.

На ее глазах строился город. Она помнила пленных шведов, которые носили землю, за неимением носилок, в полах своего драного платья, и стук кувалд, забивающих бесчисленные сваи, помнила ветряные мельницы на стрелке, где сейчас высятся дворцы, помнила казнь поджигателей, – пуская красного петуха, простой люд выражал протест против ссылки в Северную столицу, – помнила обязательные, подневольные плаванья по Неве в воскресные летние дни и шута с барабаном осенью, который возвещал о замерзании реки и первый вступал на еще тонкий лед с холщовым знаменем в руках.

Бригадир Фомин окончил жизнь свою под Дербентом во время Персидского похода и умер не в битве, что должно было случиться при его бесшабашной храбрости, а от желудочной болезни в знойное лето. Вдовья жизнь Варвары Петровны мало отличалась от замужней, и если сложить прожитые вместе с мужем месяцы, то от силы два года и набегит. После его смерти у нее уже был обширный дом на Васильевском, связи при дворе, а в деньгах она никогда не знала недостатка.

С тех пор и жила она на берегах Невы безотлучно, истово любя старую столицу, ненавидя новую, но когда двор юного царя Петра II отбыл в Москву, не сдвинулась с места, сославшись на болезнь ног. Именно в ту пору по чертежу крепостного умельца было сделано ее первое инвалидное кресло.

Как уже говорилось, Варвара Петровна была бездетна, этим Матвей и объяснял себе введливый интерес тетки к его делам. Подобное любопытство раздражало, но вскоре он понял, что такой же повышенный интерес испытывала тетушка ко всем проявлениям окружающего мира.

Ко двору по причине больных ног Варвара Петровна не выезжала, но была в курсе всех его дел и сплетен. Кроме того, ей было известно все о соседях на собственной улице и о соседях других соседей, и какие цены на ближайшем рынке, и какой корабль и чьей нации пожаловал нынче к Троицкой набережной, и где был пожар, и какую мостовую опять перекопали в видах реконструкции.

Добывать сведения о московской придворной жизни было гораздо труднее. Варвара Петровна прямо извелась вся из-за отсутствия полноценных государственных сплетен (не хухры-мухры, государыню на трон выбираем!), поэтому возвращение Анны Ивановны в Петербург в начале года стало для бригадирши истинным праздником. За прошедшие месяцы она восполнила пробелы в своих сведениях и могла дать исчерпывающую характеристику столичной жизни, был бы слушатель. Воспользуйся Матвей этой возможностью, он был бы избавлен от многих опрометчивых поступков. Куда там! «Наука любознательна, невежество любопытно!» – такой девиз привез наш герой из Франции.

Была еще одна причина, из-за которой тетка подвергалась мысленному осуждению племянника. Варвара Петровна гадала и считала себя в этом деле большой искусницей. Гадания

были зимние и летние. Летние считались простыми: на кофии, на чае, на маковых зернах, брошенных в воду. Истинным сезоном для гадания считалась зима. Варвара Петровна гадала на узорах, какими мороз разукрашивает окна. В большой, жарко натопленной гостиной каждый вечер счищали специальной лопаточкой иней. Утро начиналось с того, что безмолвная старуха до завтрака подвозила хозяйку к окнам, и та начинала со вниманием изучать ледяные кущи.

– Ужо будет зима, все твое будущее предскажу, – обещала Варвара Петровна Матвею.

И надо же такому случиться, чтоб в ноябре пал снег и грянул мороз! Потом-то все растаяло, гололед был страшный, лошади в упряжи падали, но один день случился с полноценным инеем на окнах. Варвара Петровна сочла это предзнаменованием и немедленно позвала Матвея в гостиную.

В ноябре светает поздно, уже 12 часов, а завтрак все не подают. Матвей решил со всей деликатностью, но твердо поговорить об этом с тетушкой, он-де человек военный, ему в казармы пора...

– Да будет тебе, – отмахнулась от него тетка. – Что ты в этих казармах потерял? Вот грянет война, тогда и завтрак будешь получать с утра. А сейчас ты человек молодой, тебе надобно вести образ жизни рассеянный, ложиться поздно, вставать и того позднее. Смотри сюда. Хочешь, я тебе погадаю?

Кто не засматривался на красоту заиндеветых окон? Кто не видел в них удивительные пейзажи, населенные странными зверями и чудо-юдами? Но Матвею и в голову не приходило, что в этом ледяном царстве может расположиться судьба его.

– Видишь корону? – спросила тетка.

– Вижу. Похоже.

– А видишь, блески летят с того края, где корона как бы надломлена?

Подчинившись требовательному тону тетки, Матвей кивнул, ну летят блески, чего бы им не лететь?

– А значит это вот что. Ходить тебе, князь Матвей, мимо больших денег, а попадут ли они тебе в руки, не знаю, пока не ясно. Ты, часом, не проигрался?

– Что вы такое говорите, тетушка?

– И еще скажу. Видишь, корона четко видна, а один зубец справа сломан. Много печалей и трудностей ждет тебя впереди, и все из-за золота.

– Простите, тетушка, – еле выдавил из себя Матвей, – но я человек современный и в гадания не верю.

– Скажите, какой вольнодум! – фыркнула тетка. – А коли так, сделай милость, выйди вон из горницы, да дверь плотнее закрой с другой стороны.

Как ни странно, гадание Варвары Петровны подтолкнуло Матвея к решительным действиям. Первую неделю жизни в Петербурге он занимался исключительно служебными делами. Уезжая из Парижа, он получил отпуск, но не до ноября, как сказал Клеопатре, а до января. Иной раз отпуск получить очень трудно, но вернуться в полк раньше срока – и того сложнее, тут и взятки полковому писарю не помогут – он тебя просто не понимает. Но Матвей объяснил, уговорил, улестил.

А с визитом к Люберову медлил. Почему? Если одним словом определить, то трусил, по-мальчишески страшился неизвестности. Пока он хоть в мечтах, да богат и жизнь прекрасна, а если сорвется все – ты беден, беден без надежды. И, знакомясь с однополчанами, он мысленно ставил предстоящую встречу с Люберовым в один ряд с событиями обычными, словно с судьбой торговался: в Петербурге у меня много разных дел, а среди них одно малое дельце.

Дом Люберова, как и жилье Варвары Петровны, размещался на Васильевском острове, кажется, чего проще, спроси, как найти его. Но Матвей знал, что тетка тут же в него вцепится, кучу вопросов задаст, а рядом Клеопатра: объясни мне, Мотенька, зачем тебе онный Люберов?

В ту пору улицы в Петербурге еще не были поименованы, только и был один главный прешпект – будущий Невский, а в прочих местах нужный дом приходилось находить, прибегая к расспросам. В записке Лялина было точно сказано – дом противу храма Воскресения Христова. Храм-то он сразу нашел, недалеко находился богатый, осененный деревьями дом, но он был пуст. Матвей до одури стучал в дверь ручкой, которую держал в зубах ощеренный бронзовый лев. Никто не отозвался на стук.

Матвей пошел бродить по округе. Как только свернул с мощенной бревнами улице, сразу угодил в болото, вокруг хижины обывателей, далее угодя светлейшего, ныне опального князя Меншикова. Возвратился назад, добрел до зданий коллегий, далее шел пакгауз, кабаки, гостиный двор. Жилые дома вокруг были, и немало, но все неказисты, не похоже, чтобы они принадлежали богатею.

Плутая меж строений, Матвей все время расспрашивал редких прохожих про дом Люберова. Первый из опрошенных – простолюдин – явно не понимал, о чем с ним толкуют, а второй, по виду чиновничья душа, повел себя странно: вдруг испугался чего-то, набычился, затряс головой, мол, ничего не знаю, а потом припустился бежать, словно ему пятки жгли. Наконец нашелся человек, указал все на тот же двухэтажный дом с каменной оградой, с крутой четырехскатной крышей, с колоннами по фасаду и нарядной, ограждающей балкон балюстрадой. Откуда начал, туда и пришел и опять принялся барабанить в дверь, на этот раз ногой.

Над мордой льва с ручкой находилось маленькое смотровое окошко с решеткой и ставенькой. В этом окошке наконец и показалась кривая рожа инвалида. Он схватился трехпалой лапой за решетку, прищурил свой единственный дерзкий глаз и прорычал:

– Какого черта лупите в дверь, господин хороший?

– Это дом господина Люберова? Мне нужен хозяин по срочному делу.

– Никакого Люберова не знаем, а чей это дом – не вашего ума дело. Ходят тут, покоя нету. Если будете дальше стучать, солдат кликну.

Недаром томили Матвея предчувствия, что возникнет какая-нибудь неразбериха. Он немедленно отписал Лялину письмо: «Означенного клиента на месте не оказалось, очевидно, он съехал по делам своим. А посему просьба – сообщить прочие его адреса». Теперь только ждать. При самом лучшем раскладе ответ из Москвы он получит только через месяц.

Однако разъяснение случившемуся последовало гораздо раньше. За завтраком Клеопатра, рассказывая про болезнь отца, упомянула имя частого гостя в их доме – Андрея Корниловича Люберова.

– Это какого же Люберова? Который в Швецию ездил по посольским делам? Так я его знаю. Дом у него роскошный был... тут, недалеко.

– Почему был? – рассеянно спросил Матвей, принимая из рук сестры чашку обжигающе горячего кофе.

– Об этом, голубь мой, вслух не говорят. Господин Люберов, считай, уже полтора месяца как арестован. Усадьбы его, дома и все земли конфискованы в пользу казны. Жена, несчастная женщина, она ведь из рода княжеского, но обедневшего, была в невестах не при деньгах, а муж ее озолотил. Теперь все прахом пошло. Мало того что господ взяли, так и дворян под розыск пошла. А до Люберова-младшего не добрались. Он где-то в дальних полках обретается. Видно, нашлись у сынка знатные покровители.

Матвей опомнился только тогда, когда из-за дрожавшей чашки на руку ему плеснуло горячим кофе.

– Ну вот, кружева запачкал! – воскликнула Клеопатра. – Экий ты неловкий!

Она пыталась взять из рук брата чашку, но он ее не отдавал, только смотрел дико. Гадание Варвары Петровны начинало сбываться.

## Часть II

### Родион Люберов

#### 1

#### Историческая справка II

Обыватель живет и воображает, что его существование, такое полнокровное и понятное в счастье и горести, идет как бы само по себе, а то, что делается наверху у трона или, если хотите, у главного руля, его как бы и не касается, мол, у них там своя компания, а у меня своя, и пути наши никогда не пересекутся. Это неправильная и наивная точка зрения, потому что путь властителя и самого маленького из его подданных пересекаются каждый день, и не только из-за поступков, но даже от помыслов цезаря или президента жизнь обывателя может сделать крутой виток и в корне перемениться.

Царь Петр I перебаламутил всю Россию: воевал, строил города, корабли, казнил, брил бороды, мотался по Европам, порешил сына, и каждое движение его кипучей натуры грохотом отзывалось по всей Руси. Одно из его нововведений, на вид разумное и неопасное – закон о престолонаследии, – привело в XVIII веке к частой и зачастую трагической смене царствующих особ. По закону Петра русский трон передавался не по родственной линии от отца к сыну, а по воле ныне здравствующего императора – кому хочу, тому и оставляю. В результате никто из царствующих особ не успел составить толкового завещания и почти все они садились на русский трон в результате гвардейского переворота. Так стали царицами Екатерина I, Елизавета Петровна и Екатерина II. Анну I, или Анну Иоанновну, герцогиню Курляндскую, тоже сделала царицей гвардия, хотя на трон она была выбрана (именно выбрана!) Верховным тайным советом<sup>11</sup>, который при малолетнем Петре II управлял Россией. В Верховный тайный совет входили знатнейшие русские фамилии. Люди эти оставили заметный след в нашей истории, по традиции их называют верховниками.

Пятнадцатилетний Петр II скончался в Москве в январе 1730 года. Это был страшный удар для русского государства. В ночь его кончины в Лефортовском дворце собрались на совещание представители Церкви, Сената, генералитета и весь Верховный тайный совет – всего 15 человек. Совещание должно было решить главный вопрос – кто займет русский трон.

Вначале верховники единогласно постановили, что мужская линия Петра Великого пресеклась. Старшая дочь Анна Петровна успела родить сына, мальчика по традиции нарекли Петром, он жил в Голштинии, но о нем решили забыть. Обе дочери Петра I – Анна и Елизавета – родились до брака родителей, стало быть, незаконнорожденные, а потому нечего о них и толковать. Потом многие годы внука Петра I – Карла Петра Ульриха Голштинского – будут называть «голштинским чертушкой», бояться его и ненавидеть.

Из пятнадцати заседавших семь человек носили фамилию Долгоруких, это дало семье несбыточную надежду – посадить на трон невесту Петра II – Екатерину Алексеевну. Кня-

---

<sup>11</sup> *Верховный тайный совет* состоял из престарелого канцлера Головкина, Остермана, двух князей Голицыных и четырех князей Долгоруковых. Это была верхушка русской аристократии. Только Павел I восстановил старый закон о престолонаследии, и, хоть сам он стал жертвой дворцового переворота, дальнейшие царствования происходили согласно его закону «Учреждение об имперской фамилии».

зья Долгорукие даже состряпали от имени Петра II подложное завешание. Идея провалилась. В семье Долгоруких не было единства, и потом, невеста не жена – нечего и обсуждать.

Далее предложили кандидатуру первой жены Петра Великого – Евдокию Лопухину, монахиню. От этой мысли скоро отказались, вспомнив о поросли другой линии Романовых, законных дочерях Ивана V: Екатерине Мекленбургской и Анне Курляндской. Старшую – Екатерину, отвергли из-за ее мужа, герцога Мекленбургского – сквалыги и интригана, побоялись, что он явится в Петербург и предъявит права на русский трон.

Анна Ивановна была вдовой, жила в Митаве, от роду имела тридцать семь лет. Князь Дмитрий Михайлович Голицын, выдвигая эту кандидатуру, сказал: «Нам известна доброта ее и прекрасные качества души. Говорят, будто у нее тяжелый характер, но сколько лет она живет в Курляндии, и не слышно, чтобы там против нее возникали какие-либо неудовольствия». Кандидатура эта вызвала всеобщую поддержку собрания, после чего автор идеи – Д. М. Голицын – произнес роковую фразу: «Выберем кого изволите, только надобно себе полегчить».

Ах, сколько раз уже была описана эта сцена всеми, кто занимается русской историей, и не знаю, как другие, а я кусаю ногти в нетерпении и желании понять: так правы, черт побери, были верховники, нарушая традиционное отношение к царской власти, или это была их роковая ошибка? Что значит «себе полегчить»? Это значит ограничить самодержавную власть и передать очень значительные полномочия в руки Верховного совета.

По всем разумным соображениям кажется, что это был шаг вперед, пахивало парламентом. Но в Польше уже был «парламент», король являлся выборной кандидатурой. И что? Король прусский Фридрих Вильгельм I, перед выборами в Польше в 1733 году, говорил очень откровенно: «Интерес Пруссии состоит в том, чтобы Польша оставалась республикою, ибо в таком случае она никогда не будет в состоянии предпринять что-либо важное против Пруссии по причине бессвязности своего правительства». Станислав Понятовский в бытность королем все свое правление боролся, чтобы королевский титул стал наследственным – не выборным! Не получилось... И кончилось дело тремя разделами Речи Посполитой, после чего Польша перестала существовать как самостоятельное государство.

Но вернемся в Москву. Совещание в Лефортово кончилось под утро. Когда представители Церкви и Сената разошлись, верховники составляли ограничительные пункты или кондиции. Вначале высокое право составления кондиций предоставили «оракулу» – Остерману, человеку хитрейшему и мудрейшему. Конечно, Остерман отказался: он грамотный человек, да, но он всего лишь вестфальский немец и негоже ему бесцеремонно вмешиваться в сугубо русские дела. Кроме того, он писать не может, суставы распухли по причине «хирагры», и рука пера не удержит. Спорить не стали, на это уже сил не осталось, надо было скорее делать дело. Позвали управителя дел Степанова, посадили за стол, дали в руки перо, а Василий Лукич Долгорукий все и надиктовал. По этим кондициям будущая царица Анна обязана была содержать Верховный совет в восьми персонах, без которого не имела права выйти замуж, назначить наследника, издавать новые законы, пользоваться казной, развязывать войну или подписывать мирный договор... Всего восемь пунктов!

Теперь надобно было вручить кондиции Анне, вручить тайно, а на словах присовокупить, что кондиции суть желание всего русского народа. В Митаву поехала высокая делегация. Москву меж тем оцепили караулом (боялись до времени раскрыть тайну) и выпускали людей из столицы только с паспортом, подписанным верховниками.

Принятые меры оказались бесполезными. Два брата Левенвольде сыграли здесь важную роль. Один из братьев жил в Москве, другой в Митаве. Первый написал второму о заговоре бояр и заверил, что народ кондиций не поддерживает. Тайное письмо доставили Анне Ивановне. И тем не менее она подписала кондиции, главное для нее – добраться до Москвы, а там видно будет.

Подписанную бумагу доставили в Москву. Теперь она приобретала силу закона, о чем князь Дмитрий Михайлович Голицын и доложил Сенату и генералитету. Прочитанное было встречено молчанием. То, что власть государыни, дарованную ей самим Богом (Голицын был только глашатаем Всевышнего), кто-то там хочет ограничить, вызвало в умах собравшихся величайший страх и смятение. «Все опустили уши, как ослики, – едко писал потом Феофан Прокопович в «Сказании». – Один Дмитрий Михайлович Голицын не терял самообладания, подбадривая всех словами: «Отселе счастливая и цветущая Россия будет».

Анна ехала в Россию, отлично понимая подоплеку событий. Ее вез Василий Лукич Долгорукий. О чем они говорили в дороге, мы не знаем, но, видно, Анна его внимательно выслушала и уже в дороге выработала план действий.

Десятого февраля Анна прибыла в село Всесвятское под Москвой и там объявила себя полковником Преображенского полка и капитаном кавалергардов. Гвардия была этим весьма польщена.

Меж тем дворянство, или, как называли его тогда, шляхетство, толковало по всей Москве о текущих событиях, и отнюдь не в пользу верховников. По какому праву эти несколько высококородных фамилий решили управлять ими и всей Россией? Уж если ограничить власть цареву, то пусть будут выборные от всего дворянства, а не несколько царедворцев, самих себя назначивших. В Верховный совет стали поступать проекты и замечания. Все как-то вдруг вылезли из своих раковин, воспламенились душой, осмелели. Но вся смелость вылилась в знакомый девиз: пусть лучше все останется по-старому. Долгорукие при Петре II взяли власть в свои руки и теперь, конечно, стараются любыми способами ее удержать. Так не дадим! Может, нам от этого лучше не будет, зато им будет еще хуже нашего. Это так привычно было – отдаться на милость государыни! И рассуждали так не абы кто, а лучшие люди государства: молодой Антиох Кантемир, дипломат, поэт и умница, граф Федор Матвеев и генерал Еропкин, ученый Татищев и будущий полководец Степан Апраксин, был здесь и князь Иван Борятинский, сенатор и правитель Малороссии. Душой заговора все считали «больного» Остермана.

Пятнадцатого февраля Анна прибыла в Москву. Тут встал вопрос – кому присягать? Предложили такую формулировку: присягнуть государыне и Верховному совету. Лихие гвардейцы вмешались и пригрозили переломать ноги автору подобного предложения. Тогда решено было присягнуть царице и отечеству. Верховники уже поняли, что дело их проиграно, но надеялись на чудо, цеплялись за подписанные кондиции. Россия – страна непредсказуемая, мало ли как дело может обернуться.

Царица знала о неудовольствии дворянства, но связь с единомышленниками была затруднена. Василий Лукич не отходил от Анны ни на шаг, стерег ее, как дракон. Наконец нашли выход. Связь наладили через свояченицу князя Черкасского – статс-даму Прасковью Салтыкову, она была свойственницей Анны. Потом представилась еще одна возможность. У фаворита Бирона родился сын, Анна Ивановна очень полюбила малютку и желала его видеть каждый день. В батистовые пеленки верная шляхта клала важные послания. Феофан Прокопович, всесильный президент Синода, на особицу высказал свою верность: послал Анне в подарок столовые часы, а под доской уведомление: рассчитывайте на нас, всесильная!

В числе взволнованных приверженцев самодержавной власти находились и наши знакомцы: Николай Никифорович Козловский и друг его Люберов. Последний был дружен с семейством Черкасских, имеющих дом на Никитской, семейством богатым и чрезвычайно влиятельным. Все новости попадали туда из первых рук. Как сладко было ощущать, что все дела твои и разговоры идут на пользу отечеству, что и от твоих малых сил зависит будущее. В общем, дворянство составило две челобитные царице, одна в кружке Черкасского, другая в доме князя Борятинского, что на Мясницкой.

Двадцать пятого февраля Сенат, генералитет и представители дворянства явились в Кремлевский дворец и были приняты государыней – всего около двухсот человек. Татищев

от группы дворян зачитал проект, направленный против верховников, но он содержал в себе некоторые пункты, ограничивающие самодержавие. Гвардейцы шумно высказали неодобрение проекту. «Левые силы» срочно перестроились, и в этот же день Антиох Кантемир прочитал вторую челобитную от дворянства: «Принять самодержавие таково, каково ваши славные и достохвальные предки имели, а присланные к вашему императорскому величеству от Верховного тайного совета пункты и подписанные вашего величества рукой уничтожить».

И царица уничтожила, порвала бумагу с кондициями на виду у всего Сената, генералитета и шляхетства. Верховники находились рядом и молчали. Да и что они могли сказать, если по стеночкам стояли гвардейцы, размахивали шпагами и вопили: «Государыня! Повелите только, и мы к ногам вашим сложим головы злодеев!»

Анна не потребовала голов верховников, сказала только с сердцем главному заправиле, Долгорукому: «Значит, кондиции составлены не от имени всего народа? Значит, ты обманул меня, Василий Лукич?»

Николай Никифорович Козловский тоже был в зале и плакал от умиления, а господин Люберов, не менее взволнованный, уже усакал куда-то по государственным делам, очевидно, опять поближе к Черкасскому для нового редактирования челобитной.

История сохранила для потомков роковые слова, которые произнес князь Дмитрий Михайлович Голицын в тот день: «Пир был готов, но гости стали недостойны пира. Я знаю, что стану жертвой неудачи этого дела. Так и быть! Пострадаю за отечество. Я уже и по летам близок к концу жизни. Но те, кто заставляют меня плакать, будут проливать слезы долее, чем я».

В тот день, когда порвала Анна кондиции, над Москвой было странное сияние, наподобие северного. Небо окрасилось вдруг всеми цветами радуги, сполохи перечеркивали его из конца в конец, словно петарды на царском фейерверке, народ ликовав – к счастью!

Но прошло время, и уже по-другому начали оценивать небесное знамение. Нашлись люди, вспомнили, что было в той небесной радуге больше всего красного цвета, и стекал он, алый, к окоему, как кровь.

Швеция была главным врагом Петра I, все усилия отца отечества были направлены на то, чтоб сокрушить Карла XII и вывести Россию на балтийские берега, как говорили позднее, «прорубить окно». Занимаясь в молодости на дипломатической службе делами шведскими, Люберов хоть и маленьким топориком, но тоже сподобился «прорубить окно в Европу». Надо ли говорить, кем был для него Петр Великий? Однако, обладая государственным умом, Люберов позволял себе критику: да, Петр великий кормчий, он вывел Россию на новый путь, но, позвольте спросить, какой ценой? Зачем скрывать от себя, что народ ненавидит Петра за жестокость и безрассудство и потому истосковался по мягкому царю. А именно таким Люберову виделось правление Анны Ивановны. Эта великая женщина послана России свыше, она продолжит реформы по преобразованию, но кротким правлением смягчит все жестокости предшественника, вернет в Россию понятие доброты и справедливости. О, наивность людская!

Анна подписала челобитные от дворянства и забыла о них, но не забыл о них господин Люберов. В первой челобитной, представленной князем Черкасским, содержался легкий намек, надежда на некоторые преобразования в управлении Россией. Люберов сам редактировал челобитную и теперь, обладая знаниями и опытом работы за границей, готов был отдать все силы на пользу отечеству и ее величеству Анне. Не откладывая дел в долгий ящик, он принялся сочинять проект, в котором внятно излагал свои взгляды на разумное и гуманное управление.

Князь Козловский, в отличие от друга, быстро остыл к государственным делам. Причиной тому был его характер, он предпочитал служить людям близким и семье, а не отвлеченному «народу», а также болезнь, которая после нечаянной простуды обострилась. Люберов вертелся в Москве подле двора, приезжая к другу в Видное, с удовольствием рассказывал о государственных новостях. Новости были положительные. Государыня обошлась с недру-



гами своими весьма мягко. Фельдмаршалов Долгоруких, Василия и Михаила Владимировичей, естественно, сместили с должностей и направили губернаторствовать – первого в Сибирь, второго – в Астрахань. Это и опалой назвать нельзя. Прочим Долгоруким вменялось безвыездно жить по своим деревням.

Это после такой-то подлости семейства, решившего свести царскую власть к простой формальности. Очень гуманное правление, я предсказывал! Верховный совет упразднен – и правильно! Теперь всем правит Кабинет министров во главе с канцлером графом Головкиным, и князь Черкасский в этом кабинете, и, естественно, барон Остерман – умнейший человек. И еще некто Миних, из немцев. Я его не знаю, но отзывы о нем наилучшие. Он Петру Великому Лажожский канал построил! Человек отменного ума, инженер, говорят, что он и в артиллерии преуспел.

Князь Козловский слушал друга с полным вниманием, но в конце каждого разговора возвращался к интересующему его вопросу:

– А что толкуют в Москве об отмене майората? Постылый закон!

На этот счет у Люберова было особое мнение. Во-первых, у него был только один сын, а потому наследство в любом случае не подлежало разделу, а во-вторых, он считал этот закон полезным России. Англия живет под майоратом и вон как далеко шагнула, английская шерсть на весь мир известна, английские купцы самые удачливые, а какие у них кожи!

– Есть в Москве умники, что вопят – отменить майорат! Но государыня наша разумна и на отмену этого закона не пойдет.

– А как же нам, простым смертным, жить? Что же я, Матвея по миру пушу? Не век же ему торчать в Париже? – кипятился Козловский.

Тогда же был измыслен уже известный нам план, с якобы проигранными в карты деревнями. В честности Люберова князь Николай Никифорович не сомневался, смущало другое. По мысли Козловского, друг его временами был несколько легковесен, как-то уж слишком увлечен гражданской идеей и желанием облагодетельствовать человечество. Это в молодости хорошо, а в старости как бы и зазорно – неужели с сединой не приобрел мудрости и ума? Однако князь был уверен, что проект преобразования, о котором Люберов толковал с юношеским задором, есть не более как желание скрасить себе досуг и никогда не будет представлен по назначению.

Во время кончины Николая Никифоровича Люберов был в отъезде, на этот раз по делам не государственным, но личным. Желание улучшить правление являлось для него, как говорят англичане, хобби, а настоящим делом была шерсть. Петр I в бытность свою настоятельно обращал внимание общества на производство кожи и шерсти, которых Россия производила в огромном количестве, но не обрабатывала дома, а продавала за границу в виде сырья. Строя овчарный завод, Люберов меньше всего думал о собственной выгоде, главными опять-таки были мысли о пользе России. Негоже дворянству заниматься фабричными делами, на это есть купеческое сословие, а потому все дела, связанные со стрижкой овец, обработкой шерсти и производством сукон, велись Люберовым в полной тайне, однако давали, к удивлению хозяина, немалый и твердый доход, намного превышающий тот, который имел он от деревень. Производство сукон в нашем дальнейшем повествовании не играет существенной роли, поэтому вышесказанным можно и ограничиться. Добавим только, что богатство Люберова многим мозолило глаза, это и ускорило роковую развязку. Но об этом речь впереди.

Спустя несколько месяцев после смерти князя Козловского закон о майорате был отменен. Это несколько смутило Люберова. Не талдычь он с таким упорством о разумности майората, может, князь иначе распорядился бы своим имуществом. Но с другой стороны, сыновья покойного вроде бы не в мире, наследство надобно будет судом делить, а тут вернется князь Матвей из Парижа и сразу получит живые деньги.

В январе государыня Анна и двор ее вернулись в Петербург. Патриотические заботы разгорелись в душе Люберова с новой силой. В мае проект, или «Мнение о рассмотрении безопасной государственной формы правления», был готов и представлен для прохождения по инстанции.

За заботой о производстве отечественных сукон и составлением «Мнения» Андрей Корнилович Люберов не заметил, как изменилось поведение Анны и ее правительства. Еще в марте 1730 года взамен уничтоженного Петром II Преображенского приказа была учреждена Тайная розыскных дел канцелярия во главе с генералом Ушаковым. Тогда это казалось разумным, как же без Тайной канцелярии за порядком в стране следить? Но кто же мог предположить, что эта канцелярия в кровавое время Анны Ивановны станет главной на Руси.

Особую роль в государстве приобрел фаворит государыни – Эрнст Иоганн Бирон. Злые языки говорили, что он вообще не дворянин, а сын простолюдина Бирена. Поменял одну букву в фамилии и из курляндца превратился во француза, стал потомком уважаемой старинной семьи Бирон. Но России-то какое дело – француз он или германец, на Руси всех иностранцев испокон веку звали немцами, и при Анне Ивановне они получили огромную власть.

Но немцы здесь и раньше были в чести. Понаехало их в Россию великое множество сразу после Смуты. Тогда и люберовский прадед прибыл из Шотландии служить царю Михаилу Федоровичу, Алексей Михайлович и Петр I иностранцев тоже весьма привечали – и правильно делали. Хочешь служить России – служи, всем рады! Но чтоб сын простолюдина такую власть взял, такого вроде и не бывало. Но, с другой стороны, покойная императрица Екатерина I и вовсе, говорят, была низкого звания и грамоты не знала.

Все эти мысли обуревали Андрея Корниловича во время долгого ожидания хоть какого-нибудь ответа на его «Мнение». Вначале он ждал, в предвкушении потирая руки: позовут его в высокие залы, скажут благодарственные слова. Потом обиделся... Стараешься, ночей не спишь, измышляешь идеи для блага державы, а ей, голубушке, до тебя и дела нет. Потом испугался. Нет, страх, пожалуй, для этого нового чувства слишком сильное слово, не было страха, но появилось ощущение опасности. Так бывает, когда ты затылком чувствуешь пристальный, недоброжелательный взгляд. Ты еще не обернулся посмотреть, кого это твоя персона так заинтересовала, а внутренне уже весь напрягся, шерсть на загривке вздыбилась.

Причиной этого ощущения были людские слухи, шепотком идущие от уха к уху. Наказание Долгоруких пошло по другому кругу. Главных действующих лиц сослали одного в Соловки, другого – в Пустозерск, третьего – в Шлиссельбургскую крепость, все огромное семейство с детьми и стариками отбывало ссылку в Березове. Потом Анна решила, что Долгорукие недостаточно несчастны в этом забытом Богом сибирском селе, всех велела отправить в Тобольск в тюрьму. Вскрылось дело о подложном завещании Петра II, мол, хотел он видеть на престоле свою невесту Екатерину Долгорукую. Начались допросы с пристрастием, то есть пытки. Дела велись тайно, по здравому смыслу о них не должны были знать в Петербурге, но в столицу просачивались такие подробности, что обыватели замирали в ужасе.

Одно дело – карать за подложное завещание, это справедливо, но народ говорил, что хватают людей за никчемицу и тащат в казематы, где подвергают немедленному розыску с пристрастием. Кухарка давеча рассказывала в слезах, как на базаре две бабы поспорили из-за индюшки, разорались страшно, а одна возьми да и произнеси в сердцах имя того немца, что в фаворе, мол, тот Бирон всю индюшатину скупил, оттого и птица дорогая стала. Кто-то крикнул «слово и дело», прибежали драгуны и забрали тех баб вместе с битой птицей. И еще сказала кухарка, что люди боятся рот открыть, как бы все не помянуть имя ее величества, приближенных ее или страшного Ушакова. Начальника Тайной канцелярии народная молва наделяла бесовской силой и рогами под париком, маленькими, чертовскими.

Другой разговор Люберов слышал в своем кругу, в гостях. Двое из приглашенных сидели наособицу и вели неспешный разговор, коего Люберов стал невольным свидетелем.

– Прапорщик князь Алексей Борятинский в Тайной, и высокий родственник его не защитил.

– Вы про князя Ивана Федоровича? Что из того, что он сенатор и хозяин Малороссии? Сейчас всяк за себя. Да и хотел бы князь Борятинский за племянника похлопотать, ничего бы из этого не вышло. Поручик идет по делу фельдмаршала Долгорукова. Выступал-де против высочайшей персоны, нарушал общественный покой, а в розыске во всем повинился и сознался.

– Ах, друг мой, в Тайной в розысках сознаешься, что ты медведь сибирский и загрыз собственную мать.

Сказали эдакое и язык прикусили, стали говорить о пустом. Арест поручика Алексея Борятинского оказался для Люберова полной неожиданностью. Он хорошо знал князя, более того, они были единомышленниками и два года назад вместе сочиняли челобитную государыне. Потом в Москве взяли директора Печатного двора Алексея Барсова...

Краем уха Люберов услышал, что государыня недовольна не только кланом Долгоруких, но и челобитчиками, которые хоть и молили Анну принять самодержавие в чистоте, дерзнули написать в бумаге слово «выборы», как то при Петре I было, когда Сенат выбирали баллотированием. Под той челобитной бумагой много достойного народу подписалось, а теперь ходят слухи, что государыня всеми этими людьми недовольна. Зачем Ей указывали, когда она Сама все знает? И кто вы такие, чтобы Ей советы о государственном устройстве давать?

Последнее замечание собеседника повергло Андрея Корниловича в ужас, потому что он своим «Мнением» как раз и давал советы – мягко, деликатно, с верой в будущее, славя государыню, но, видно, и это расценивается сейчас как дерзновение. Будучи человеком практическим, Андрей Корнилович, предчувствуя опасность, стал приводить в порядок свои дела, и занятие это, такое привычное, вдруг его и успокоило. Пересчитаны были все деньги, старостам и управляющему разосланы толковые инструкции, как вести дела в случае долгого отсутствия хозяина, скажем, за границей.

Ото всех он умел спрятать свое беспокойство, но не от жены. Ольга Викторовна тенью ходила за мужем, вопросов не задавала, а сидела подле с пальцами, и часто игла с шелковой нитью клала неверный стежок и колола ей пальцы. Не поднимая глаз от вышитых цветов, она дала толковый совет: отпиши Роденьке в полк. Он в письмах все про отпуск домой толкует, а ты отпиши – пусть не торопится, дела служебные важнее наших, стариковских. Да и видели мы его не так давно, всего-то три месяца прошло с его последнего приезда.

Люберов понял, что жена тоже предчувствует опасность и хочет как-то оградить от нее сына. Андрей Корнилович счел этот совет за благо, в тот же день сочинил хитрое послание, по которому сын о многом должен был догадаться, и отослал его в Ревель в N-ский полк, в котором Родион Люберов служил в чине поручика.

### 3

Получив письмо от отца, Родион Люберов очень озаботился его содержанием, поначалу не понял ничего и решил даже, что это одна из причуд отца, а их взыскательный сын насчитывал у родителя великое множество.

Прежде чем перейти к сути дела, остановимся подробнее на фигуре нашего второго молодого героя. Родион Люберов имел двадцать пять лет от роду, образование получил домашнее, но вполне сносное. В 1717 году, в октябре, он в числе прочих отроков присутствовал на встрече императора Петра I, когда тот приплыл на яхте из Кронштадта после длительного заграничного вояжа. Государь был в платье шведского покроя. Юный Родион запомнил его долгую фигуру, синий цвет кафтана как-то особенно хорошо гармонировал с блеклым октябрьским небом и водой Невы, по которой бежали волны с пенистыми барашками. Особенно поразила

Родиона маленькая голова императора с короткими волосами, заколотыми женской гребенкой, и взгляд, строгий до чрезвычайности. Все вокруг вопили в упоении, непрестанно палили пушки с Адмиралтейства и крепости. Вид императора Родиона скорее напугал, чем очаровал.

Встреча с Петром сыграла важную роль в жизни Люберова-младшего. Через день он был записан солдатом в дивизию генерала и кавалера барона фон Галларда. По причине малолетства Родион продолжал находиться дома, где и занимался науками, а как исполнилось шестнадцать, отбыл с приобретением чина в Белгородский пехотный полк. Перевод в Ревель к генералу Бону он получил много позднее, уже после воцарения Анны.

В полку Родион Люберов был на хорошем счету у начальства, потому что ко всем порученным ему делам относился с отменной серьезностью и начатое доводил до конца, однако отношения с офицерами-сослуживцами и малыми чинами, хоть внешне и выглядели благополучными, оставались прохладными. Что-то в Люберове всех не устраивало, настораживало, и ведь не скажешь сразу – что? Умен? Безусловно. Смел? Вне всяких сомнений. Порядочен? Никому в голову не приходило в этом сомневаться. И приветлив, и вежлив... Но дружбы с ним не водили. Он не играл, не ездил к «мамзелям», в дружеских попойках участвовал, но никто не видел его пьяным в лоскуты. Он не был жаден, но никому бы не пришлось в голову попросить у него денег взаймы. У Родиона Люберова полностью отсутствовали качества, которые позволяли бы называть его «добрым малым», не было в его характере бесшабашности, русской широкости, чтоб заключить, скажем, безумное пари или выругаться эдак цветисто, эдак, когда солдаты на плацу рты разевают: во наш дает! Родион Люберов всегда застегнут на все пуговицы, и в ярко-серых, блестящих глазах его светилось столько же легкомысленности и веселья, сколько в начищенной до сияния шпаге, висевшей у него на боку.

Добавим еще, рост он имел средний, а узкокостная фигура его была до того пропорциональна, что он казался меньше ростом, чем был на самом деле. В армии рост в почете, и когда Родион понял, что ни в грендерах, ни в кавалергардах ему не ходить, то очень это переживал. Лицо его можно было назвать красивым, разве что несколько портил дело рот, которому он старательно придавал унылое выражение, дабы подчеркнуть безразличие ко всему миру. В минуты волнения на его впалых щеках вспыхивал яркий румянец, и Родион втайне стыдился этого и потому неожиданно свирепел. Полковые остряки говорили, что он пудрит лицо, желая выглядеть бледным. Но каждый знал: не приведи господь, чтоб эта невинная шутка достигла ушей его. Родион не признавал дуэлей, но в полку подозревали: если Люберов почтет себя оскорбленным, то сделает нечто страшное.

В этом они были правы, гордыней Родион обладал безмерной, и гордыней юношеской, которую пристало иметь в семнадцать лет, а никак не в зрелые годы. Родион был натурой страстной, однако всеми силами старался скрыть это качество. На показное безразличие уходило иногда столько сил, что к ночи он прямо-таки валялся на лавку, но даже во сне не мог расслабиться и все грозил кому-то невидимому: «Я докажу, докажу!» А что докажу-то? Свое высокое рождение, высокие принципы, свое предназначение, в конце концов.

По линии матери Родион принадлежал к славнейшему на Руси угасшему княжескому роду Хворостининых, отец был потомком выходца из Шотландии – Роберта Любераса, сына аптекаря. В Москве Роберт не стал трудиться по фармацевтической части, а пошел в армию. Видно, он был человеком отчаянной смелости, потому что не только утвердился в России, но и получил потомственное дворянство и несколько деревень под Рузой. Отец любил вспоминать Любераса, но в детстве Родион слушал эти рассказы вполуха. Куда больше его интересовала судьба князей Хворостининых. Маменька, особа тихая, нежная, всей душой преданная мужу, пугалась истового любопытства отрока: «Зачем тебе это, родимый? Хворостинины все умерли, они нам дальняя родня. Это бабка моя была Хворостинина, а я уже Волкова. Про Волковых и расскажу».

Со временем Родион все сам узнал, справился в Бархатной книге при герольдии, куда вносили князья и бояре свои «сказки». О, сколько достойных имен встретил он в этих хворостининских «сказках»! Вот Федор Иванович, князь, боярин, воевода и дипломат. Он участвовал в Полоцких походах, заведывая всеми царевыми пищалями. При венчании Грозного с Марией Нагой Федор Иванович нес в церкви золотую чару; на приемах послов среди важнейших людей на Руси сидел на большой лавке четвертым! Жизнь кончил, как и многие мужи Хворостинины, в монастыре, приняв постриг под именем Феодосия.

А отец Андрей Корнилович все толкует про шотландского предка. Зачем Родиону эти волынки, вереск, стада овец и шерсть в клетку, если он хотел быть русским, и только русским! Конечно, он стыдился овчарного завода. В жилах отца до сих пор играет шотландская кровь! Разве русскому князю пришла бы в голову мысль производить сукна, даже если они поставляются в армию? Это удел торговцев, дворяне должны воевать! Родион страшно боялся, что про овчарный завод каким-нибудь образом узнают в полку. Тогда насмешкам не будет конца, и он вынужден будет перестрелять всех обидчиков и пойти на каторгу.

При этом еще больше мучила и унижала мысль, что он стыдится отца своего. Андрей Корнилович был богат, добр и щедр. В последний свой приезд в родительский дом Родион старался как мог выразить отцу свою любовь и уважение. Срок командировки малый, всего-то десять дней. Поручик Люберов привез из армии пакет на имя фельдмаршала Миниха. О значимости его Родион ничего не знал, он мог касаться дел Польши, до которых у всех возник интерес, и предстоящего фейерверка на тезоименитстве государыни: к петардам на празднике артиллеристы относились с большей ответственностью, чем к военной баталии. Сам фельдмаршал Родиона не принял, но многие высокие чины удостоили его своей аудиенции, расспрашивая о жизни полка в Ревеле. Словом, времени для общения с отцом у нашего героя было мало, так толком и не поговорили.

За день до отъезда Родион поехал с отцом в заново отделанную загородную усадьбу. Андрей Корнилович очень радовался возможности показать наследнику, как славно он все переделал, и тут же стал советовать: стоит или не стоит основывать подле усадьбы еще один заводик по производству сукон? Сырую шерсть очень сподручно доставлять сюда водой, вот здесь можно устроить отличные склады, оборудование закупить в Англии... Родион только хмурился, разговор этот, кроме досады, ничего не вызывал.

За обедом отец кинулся в другую крайность, стал толковать о делах государственных. Мол, государыня добра и милостива, но нет у нее хороших советчиков. Господин Бирон по всем отзывам человек отличнейший, однако достойным советчиком в управлении державой быть никак не может, понеже знает толк только в лошадях.

– Зачастую это бывает полезнее прочих знаний, – буркнул Родион. – Лошади прекрасное творение Божье.

– Кто ж возражает? – тут же откликнулся Люберов-старший. – Рядом с государыней есть еще Остерман – мудрейший муж.

– Об Остермане говорят – хитрая лиса, – строго заметил Родион. – Вот он пусть и советует. Для этого у него хватит изворотливости. Знаешь, где прежние-то советчики обретаются? На далеких выселках. А князь Голицын Дмитрий Михайлович живет в сельце Архангельском под Москвой. Книги, науки... жизнь мыслителя, а по сути – ссылка.

Андрей Корнилович вдруг заскучал, затосковал, суетливо начал потчевать сына вином, да сам и выпил весь штоф. После обеда показал Родиону недавно купленные картины, которые повесил в большой зале: пейзаж итальянский с развалинами и портрет покойной тетки, который ее дальние наследники продавали за ненадобностью. Портрету отец очень радовался.

– Тетка красавицей была. Умерла молодой. Ты ее помнишь?

– Нет.

– А ведь портрет писан в моем доме заезжим французским художником. Фамилию его я позабыл. Да это и не важно.

Родион вернулся в полк с тяжелым сердцем. Потекли будни. Полковник фон Бок был истинным сыном своего времени, а потому ценил в армии не столько ее боеспособность, сколько красоту строя. Красота эта достигалась ежедневной муштрой. Много составлялось бумаг, в которых подробно расписывались диспозиции данной экзерции: «...гренадеры второго и третьего плутонга, поворотясь налево кругом, входят сквозь первую роту в батальон-каре и примыкают с правых флангов ко второму и четвертому дивизионам...»

Родион Люберов был мастак писать диспозиции и часто делал это за других, если его просило начальство. Тоска... А потом пришло письмо от отца, странное письмо: «Дорогой сын! Поразмыслив на досуге, я решил поделиться с тобой неким делом, до нашей семьи касаемым. Дело это не есть неотложное, но, как говорится: человек предполагает, а Бог располагает. Случайностям каждый из нас подвержен. Ты мой единственный наследник, а потому я тебя должен поставить в известность. В твой давешний приезд домой мы с тобой об этом деле и словом не обмолвились, а зря. Моя вина, каюсь...»

И так до конца страницы – слова, слова, а до сути не добраться. Только на оборотной стороне листа появился так тщательно скрываемый отцом смысл. Оказывается, отец взял на себя обязанность обеспечить законными деньгами некую жертву майората – младшего отпрыска покойного князя Козловского. Все понятно, зовут Матвеем, служит в Париже. Отец приобрел у князя каким-то необычным способом («это до дела не касается») деревни и под слово чести должен вернуть Матвею Козловскому 50 000 серебром (ого!). Об этом деле подробно осведомлен стряпчий (имя, фамилия, адрес), и ввиду каких-либо неувязок надо будет снестись с оным стряпчим. В конце делового письма – скромная приписка: «О текущем сообщаем, что мы здоровы и благополучны, посему домой не торопись». От матушки ни полстрочки.

На первый взгляд, обычное деловое письмо, отец ставит о делах своих в известность сына. Странно только, что между строк как раз пряталась неотложность и важность сообщаемого дела, хотя отец твердил об обратном. Почему? Отец был здоров и помирать не собирался. Родион подумал и решил, что письмо это – деликатный намек: денег ты в этом году, милый сын, получишь меньше обыкновенного. Андрей Корнилович очень заботился, чтобы сын ни в чем не знал недостатка, мог снять хорошее жилье и стол. Жалованье часто задерживали и, если сознаться, было оно мизерным.

Родион Люберов не играл в карты, не тратился на женщин, но была у него одна дорогостоящая страсть, и отец знал об этом. Лошади... дивные, верные, умные животные! Лошадь как произведение искусства может стоить полушку, а может потянуть на тысячи. Родион мечтал купить крапчатую кобылу, присмотрел у одного литовского помещика. Помещик заломил фантастическую цену, без помощи отца здесь было никак не обойтись. Но, видно, не судьба. Производство сукон потребовало у отца каких-то неожиданных трат, а тут вынырнул Матвей из Парижа, родителю пришлось занимать под бешеные проценты эти 50 тысяч... Могло такое случиться? Вполне вероятно. И Родион запретил себе мечтать о крапчатой кобыле.

#### 4

В русской государственной традиции, если глава семейства впадает в немилость, то арестовывают всех разом – и жену, и детей, а зачастую и родителей. Если родственники к «делу» напрямую касательства не имеют, то их не подвергают допросам с пристрастием, но через тюремную камеру проходят все. Потом, как водится, Сибирь, имущество конфискуется в пользу казны, и в обществе забывают, что был такой-то человек (иногда равносильный монарху, скажем, Меншиков). Говорить об опальном было не просто неприлично, но и опасно.

При дворе это считалось дурным тоном. Именно поэтому Родион не узнал об аресте отца своевременно.

Самого Родиона не арестовали лишь по той причине, что не смогли до него добраться, физически не смогли. Когда в Ревель прибыл малый чин для арестования, означенный Люберов плыл морем в Ригу, вез на праме «Стремительный» казну и пакет генерал-майору Ласси. Малый чин из Тайной канцелярии не поленился и достиг Риги сухопутным путем, чтобы прямо на месте забрать Люберова в свои справедливые руки. Но и этому не суждено было сбыться. В Риге защитник справедливости узнал, что прам, по всей видимости, затонул, потому что пошел в плавание плохо просмоленный, а буря на море разыгралась сильнейшая.

Малый чин плюнул с досады и отбыл в Петербург. А неделю спустя в рижскую бухту вошел прам «Стремительный». Он был сильно потрепан бурей, от парусов остались одни клочья, но команда и пассажиры остались в целости. Спасшихся мореплавателей встречали так, словно они выиграли битву не со стихией, а с неприятелем. Родион вручил казну и пакет кому следует, после чего его принял сам генерал-майор Ласси. Последний знал, что не только от бури спасся молодой человек, но и от другой напасти, куда более жестокой – Тайной канцелярии.

У старого генерала были свои счеты с этим славным органом. Пока никого из его семьи не подвергли опале, но Ласси знал Ушакова и не любил его. Это была не только неприязнь военачальника к секретам и пыточным делам. После «дела Девьера» многих сослали в Сибирь, а Ушакова определили в армию. Как он туда попал? Да просто продал всех, с кем вместе вел противогосударственные речи.

И мудрый Ласси принял такое решение: раз уж этот поручик... как его, Люберов, избежал гибели в море, то негоже сдавать его на смерть во второй раз. Вроде уже случился Божий суд. Если бы хотел Господь того поручика сокрушить, то буря для этого очень подходит. На приеме Ласси не стал рассказывать о происках малого чина (не генеральское это дело!), но строго сообщил поручику, что оставляет его служить у себя при штабе и что полковник фон Бок в Ревеле будет о том извещен.

Родион остался служить в Риге. Стылым ноябрьским вечером, когда первый снег запорошил мостовые и ветер с залива гнул в дугу молодые деревья и ломал ветки на старых, словом, погода была такая, что носа на улицу не высунешь, в наружную дверь Родионова жилища стукнул дверной молоток. Хозяин не сразу его услышал, ржавый флюгер на крыше словно сбесился и неумолчным скрипом своим глушил все звуки. Тогда постучали в окно. Денщик храпел в своей каморе, и Родион, чертыхаясь, сам пошел открывать.

Фигура мужчины была вся облеплена снегом, даже брови побелели. Он бочком вошел в дверь, отряхнулся, как мокрая собака после реки, и грустно посмотрел на Родиона.

– Флор, ты ли это? Откуда? Как ты меня нашел?

– Да уж нашел, барин. С помощью Божьей и добрых людей. Позвольте сяду, задрог очень.

– Конечно. Григорий! – крикнул Родион во весь голос.

– Ни, ни, барин, тихо. – Флор рванулся к Родиону, словно хотел зажать ему рот рукой, но вовремя опомнился, только часто задышал от тревоги.

– Но денщик камин разожжет и поесть тебе даст, – шепотом сказал Родион.

– Ничего этого не надо. Вы лучше дверь в камору притворите, дело-то мое секретное. Ведь я в бегах.

– То есть как? – Родион уже наливал продрогшему слуге водки, но, услышав его признание, так и замер с чаркой в руке. – Ты от отца моего сбежал?

Теперь пришла очередь удивляться Флору.

– Неужели вы до сих пор ничего не знаете?

– А что я должен знать, говори толком?

Надо отдать должное старому слуге. Он не брякнул свою страшную весть сразу, а постарался смягчить ее, для чего встал, потоптался, пожевал губами.

– Арестование у нас приключилось третьего октября. Всех взяли. И их сиятельство, и благодетельницу матушку вашу, и слуг, кои в близости стояли. Я в те времена был в деревне, меня и не тронули. – Он сам вынул из послушных пальцев Родиона чарку водки, выпил ее, крикнул и отерся мокрым рукавом. – Я от благодетельницы барыни письмо к вам привез.

Весть, принесенная слугой, сразила Родиона, последние слова Флора он просто не услышал. Мысли одна другой проворнее и глупее зашевелились вдруг в голове разом. Он-то, дурак, увидев Флора, решил, что отец выслал ему обещанные деньги, и покупка пусть не крапчатой кобылы, но вороного жеребца состоится. Почему он ничего не почувствовал, увидев запорошенного снегом слугу, почему душа не возопила о постигшей отца беде? Флор еще толкует что-то про мать. Значит, и она, кроткая, в бежевом роброне<sup>12</sup>, который он так любил, в чепце с брюссельскими кружевами... на лавке, в тюремной камере.

– Но ведь это ужасно! – выдохнул он наконец.

– Позвольте ножичек – взрезать, – деликатно допросил слуга.

Родион посмотрел на него дико, но, ничего не сказав, протянул нож для разрезания бумаги. Флор стащил с себя теплый кафтан, подрезал подкладку, вытащил свернутое в трубку письмо и протянул его Родиону. Тот с трудом развернул подмокшую, словно жеваную, бумагу. Написано было убористо, мелко. Буквы плясали перед глазами, не складывались в слова, так оголодавший человек при обильной еде не может глотать, кусок не лезет в горло.

– Они живы?

– Матушка ваша точно жива, а про их сиятельство не знаю, их отдельно содержат, и туда доступа нет.

– Какие вины за ними числят?

– Откуда же нам знать? Мы люди малые. Но думаю, взяли их за дерзновенные поступки и поношение здравствующей государыни. Так обычно говорят.

– Как передала тебе матушка это письмо?

Флор оживился:

– Барыня Ольга Викторовна стражника перстеньком подкупили. Тот стражник явился в дом и как раз на меня и напал. Принеси, говорит, в холодную, как барыня велели, подушку, одеяло и какой-нибудь еды. Я и понес. А на словах тому стражнику передал, что я, мол, Флор и жду распоряжений. Стражник, по счастью, жадный попался. Барыня ему еще браслетик дала. За тот браслетик он письмо из тюрьмы, вынес со словами: «Это для сына, велено свезти». Я и повез. В Ревеле на вашей старой квартире хорошего человека встретил, он у вас постоем. Рыжий такой, конопатый и пьяный. Он мне и сказал: «Ищи своего барина в Риге».

– Это Феоктистов, отчаянный пьяница, – со счастливым смехом сказал Родион, будто добрый поступок сослуживца, с которым он и десятью словами не перемолвился, мог как-то благополучно повлиять на дальнейшие события.

Руки у Родиона уже не дрожали. Шут его знает, отчего он вдруг успокоился. Жизнь его, до сих пор прямая, как линейка, сделала неожиданный безумный изгиб, и все взорвалось разом, словно из гаубицы по нему пальнули. Пальнули, да не попали! Отряхнулся от земли, и надо же – живой! Отец невиновен, это ясно. В крепость он попал по чьему-то навету. Стало быть, надо найти клеветника и освободить родителей. Жизнь обрела цель куда более значительную, чем покупка гнедого или вороного жеребца. «Я докажу», – глухо прошептал внутренний голос, тот самый, что не давал спать по ночам. Родион пододвинул свечу и принялся за письмо.

«Государь милостивый, сыночек мой ласковый! Я живу хорошо, только голодно. Последние слова батюшки твоего были: “Пусть сын спасет мою честь!” Ответ найдешь в картине, перед которой вы вместе с Андреем Корниловичем в последний твой приезд стояли. Где это

---

<sup>12</sup> *Роброн* – шелковая китайская ткань с разводами.



было – знаешь сам. Картина сия или парсуна есть портрет покойной тетки твоей. Честь наша зависит от каких-то бумаг или денег, а больше мне о том предмете ничего не ведомо. Андрей Корнилович сказал только, что та парсуна есть шифр, и ты, мол, по ней все поймешь. А сейчас я тебе, светик мой, отпишу, как все в яви происходило.

Арестование случилось в полночь или около того, то есть мы уже почивали. Они ввалились сразу, гурьбой, а когда нас уже опосля на улицу вывели, я видела драгунов вокруг нашего дома великое множество. Андрей Корнилович как слышал шум внизу и как глухой Иван с драгунами объясняется, сразу вскочил в чем был и бросился в библиотеку. А драгуны вбежали в спальню, где я сидела на постели ни жива, ни мертва. Они по углам зыркают, кричат где он? Тут Андрей Корнилович и входит, на ночном дезабилье шлафор бархатный. К нему сразу бросились двое, схватили его за руки, а офицер бумагу стал читать, мол, батюшка твой за злодеяния его подлежит арестованию. Только это все ложь. Добрее твоего отца и честнее я не видела. Андрей Корнилович грубым хватанием за руки нимало не смутился, только сказал с достоинством: “Позвольте мне одеться”. Я тоже с постели встала, забыв, что на мне одна распашонка ночная. Андрей Корнилович говорит офицеру строго: “Позвольте даме одеться. Извольте выйти вон. Я не убегу”. Офицерик молоденький смутился, сам ушел и солдат увел, но дверь оставил незатворенной. Тут мне батюшка твой и шепнул про парсуну, шифр и про честь нашу, де он своим словом кому-то поклялся. Был он тогда в большом смутении, потому и невнятен. Он тогда, бедный, еще не знал, что меня вместе с ним заберут и тут же разлучат. Тут вдруг старший из команды в спальню взошел и стал зело молодого офицерика ругать, что нас противу уставу одних с Андреем Корниловичем оставил. А по дому-то шум, обыск идет. Андрея Корниловича первого вывели, меня за ним, я видела, как дверца его арестантской кареты захлопнулась. Он мне знак рукой сделал, знак горестный, а в глазах слезы. В ту ночь еще забрали...» На этом письмо кончалось.

Родион долго сидел в глубокой задумчивости, потом спросил Флора:

- На словах тебе больше ничего не передавали?
- А кому передавать-то?
- Чей ты теперь?
- Я так полагаю – казенный. Мы теперь вроде государыне принадлежим.
- Со мной останешься. Не убудет у государыни от одного человека.

## 5

Отец дал мне задание... Но какое, помилуй бог? При чем здесь портрет умершей тетки? У этого портрета отец взорвался и наговорил много ругательных слов. Но никакого нового, особенного разговора там не было, все старые обиды перемывали.

Родион круто повернулся на каблуках, подошел к столу и сел. Хватит бесцельно бегать по горнице. Совсем ополоумел, честное слово. Метель завывала за окном. Флор спал на лавке, из-под овчинного тулупа торчали огромные, растоптанные ступни в шерстяных носках. На правой дыра... нет, на левой. Родион потрянул головой, он с ума, что ли, сходит? Какое ему дело до дырявых Флоровых носков? Он вдруг остро позавидовал безмятежному сну слуги. Тот спал тихо и сладко, только вздрагивал время от времени и сучил ногами. И опять на ум пришла собака, которая вот так же вздрагивает во сне после трудной работы на охоте.

Чертов флюгер! Нет, это невозможно слушать, от его скрипа ноет затылочная кость, а звуки то тише, то громче... Завтра съеду с этой квартиры, от этого паскудного флюгера! Только помни, поручик Люберов, ты теперь нищий!

Родион не заметил, как опять очутился на ногах. Особое недоумение вызывало слово «шифр». Слово это пугало. Шифр – значит серьезная тайна. От кого? И какие особые секреты могут быть у скромного русского дворянина? Или отец как-то снесся с иностранными мини-

страми, скажем, шведскими? Он ведь был в Швеции... Страшно подумать, что случилось бы, если бы Флор с эдаким-то письмом был бы схвачен. Смерть неминуемая! Однако все это чушь и вздор. Какие там шведские министры? Может быть, отец сносился с Англией по своим суконным делам, но при чем здесь шифр?

Начнем сначала... Родион снова принялся читать письмо. Это послание надобно выучить наизусть, а потом сжечь. Если его арестуют, то желательно не иметь подобной улики на руках. Но прежде чем жечь, он должен понять. Но как понять, если это письмо тоже шифр?

Почему он очутился вместе с отцом около портрета? И когда?... После обеда, в загородной усадьбе Колокольцы. Поели, а потом и поссорились. Вернее, это отец ругался, а он головой кивал. А спорили они все о том же, об овчарном заводе.

– Что я тебе ни скажу – все не так. Я понимаю, армия для молодого человека самое приличное занятие. Но на кого я завод оставляю? Наследник-то один. А ты ведь моих овец не примешь, постесняешься. Так или не так, говори отцу! По глазам вижу, что так. А я считаю, если государь Петр уважал ремесла и сам у токарного станка стоял, то и мне заводская работа пристала.

– В ремеслах ли дело! Петр потому велик, что был воином. Он флот построил, по морю гулял и Швецию сокрушил.

– Ведь не все время война лютует, наступает и мир. Но иной в безмятежной мирной жизни остается праздным, а другой хочет государству подсобить. Мудрый сельский житель существует в земельных и экономических упражнениях, регулирует сад или цветник, другой разводит свиней, а я вот сукна тку для человечества. Жизни нужно много потреб, а для них необходимо идти в ногу с быстротекущим временем.

– Насчет быстротекущего времени я согласен.

– Вот посмотри, тетка твоя покойная. Платье на ней немецкого фасона, но из камлота, сотканного на русской прядильне. И шейку-то она вот как гордо держит! Была она красавица и умница. Грамоте знала, а потому указывает пальчиком на книгу. Петр издал указ – неграмотных девиц не венчать! До этого указа девы затворницами жили, а она – нет! Во славу государства Российского на ассамблеях десять пар туфель станцевала. А как же... надобно отечеству. Тогда на ассамблеи барабанным боем созывали, дамы и девицы старше десяти лет непременно должны были являться в залы и танцевать до упаду с изяществом. Умерла молодой, сгорела, как свеча.

– Батюшка, ну как можно сравнивать: ваше предприятие и танцы на балу...

– Дурак ты, Родька.

Вот и весь разговор около дамы в красном платье. И как в этой беседе найти отгадку? Да, как он позабыл?... За обеденным столом был еще разговор – странный. Отец говорил, что у государыни нет достойных советчиков, и ругал Бирона. Может быть, он не только со мной эту тему обсуждал? На хороший донос здесь хватит... но при чем здесь тетка в камлоте отечественного производства? А вдруг на оборотной стороне портрета написано что-то? Во всяком случае, эту парсуну надо увидеть, и чем скорей, тем лучше. Усадьба Колокольцы принадлежит теперь государству, попасть туда будет мудрено, но еще мудренее добраться до Петербурга. Он должен как можно скорее получить аудиенцию у генерал-майора Ласси. Если тот до сих пор не сдал его властям, то на помощь старого генерала можно рассчитывать.

Попасть к Ласси было сложно, генерал стоял во главе целой армии, человек он занятой я не разменивался на пустые встречи с подчиненными. Но судьба на этот раз сжалилась над Родионом и послала ему свое ободрение. Так Демон – греческий бог рока, напал внезапно, в мгновение ока смял всю его жизнь, но тут же исчез, оставив его в покое. Болтаясь в приемной Ласси, Родион нос к носу столкнулся с генералом, бароном фон Галлардом, приехавшим накануне из Петербурга. Родион мог с полным правом назвать барона своим благодетелем. Именно он записал его мальчишкой в свою дивизию, с помощью все того же фон Галларда Родион

получил первый офицерский чин. Позднее в Ревеле барон видел поручика Люберова и каждый раз осведомлялся, как Родион продвигается по службе, довольны ли им командиры, как проживают родители, то есть по-отечески заботился о своем протеже. И вот опять встретились.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.